

РУССКАЯ  
**МЫСЛЬ.**

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

МАРТЪ — АПРѢЛЬ



---

МОСКВА И ПЕТРОГРАДЪ  
1917

1921  
1922.

а.  
1922.

# РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ



КНИГА Ш-IV

---

МОСКВА И ПЕТРОГРАДЪ

1917

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
I. ЖАЛОСТНИКЪ. Разказъ.—Сергѣя Дурылина . . . . .	1
II. СТИХОТВОРЕНІЕ.—Ивана Новинова . . . . .	35
III. КАРЬЕРА СИВЕРТА. Романъ Амаліи Скрамъ. Съ норвежскаго. — Перев. М. П. Благовѣщенской. <i>Продолженіе</i> .	36
IV. СТИХОТВОРЕНІЕ.—В. В. Набонова . . . . .	72
V. ДОБЫЧА. Романъ.—Аріадны Тырковой. <i>Продолженіе</i> . .	73
VI. СТИХОТВОРЕНІЕ.—Софьи Зарѣчной . . . . .	125
VII. ВЪ ОФИЦЕРСКОЙ ПАЛАТѢ. Разказъ.—Л. Ефимовичъ .	126
VIII. ВОЙНА. Романъ Бюхена Линча. „Unofficial“. Ву <i>Волуп Lutsch</i> .—Съ англійск. перев. З. Н. Журавской. <i>Окончаніе</i> .	141
IX. ПОРОСЯЧІЙ ВОРЪ И АГАПУШКА. Разказъ.—Бориса Розова . . . . .	188
X. ПРИЗЫВЫ.—М. Ге . . . . .	221
XI. ОБНОВЛЕНІЕ ЧЕРНОЗЕМА.—С. Т. Семенова. <i>Окончаніе</i> .	1
XII. НОВЫЯ ТЕЧЕНІЯ ВЪ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ.—Кн. М. Туманова . . . . .	26
XIII. О НАУКѢ И УЧЕНОСТИ.—† Евг. Шульца . . . . .	35
XIV. НОВОЕ РѢШЕНІЕ СОЦІАЛЬНАГО ВОПРОСА.—В. Тотоміанца . . . . .	46
XV. ПЕРЕПИСКА ДВУХЪ СЛАВЯНОФИЛОВЪ. И. С. Аксаковъ и В. И. Ламаанскій.—Сообщила О. В. Покровская-Ламанская . . . . .	56
XVI. ИДЕИ И ЖИЗНЬ. Теократическія иллюзіи и религіозное творчество.—Николая Бердяева . . . . .	71

XVII. СОВРЕМЕННЫЙ ПЛАКАТЪ.—Вѣры Славенсонъ . . . . .	81
XVIII. ДОКУМЕНТЫ ПРОШЛАГО. Русская революція и миръ. Открытое письмо Жану Жоресу.—Петра Струве . . . . .	95
XIX. ЗАПИСКИ ЗЕМСКАГО НАЧАЛЬНИКА. — Владимира По- ливанова . . . . .	102
XX. ХОЗЯЙСТВО И ЦѢНА. Рѣчь на докторскомъ диспутѣ.— Петра Струве . . . . .	130
XXI. КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. Критико - библиографи- ческий отдѣлъ. I. Книги: Исторія литературы и литера- турная критика.— Исторія.— Публицистика.— Искусство. II. Книжныя новости. III. Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журнала „Русская Мысль“ съ 1 февраля по 1 апрѣля 1917 г. . . . .	1
XXII. ОБЪЯВЛЕНІЯ . . . . .	1

1. Редакція принимаетъ только рукописи, переписанныя на машинкѣ или совершенно четко перомъ; рукописи неразборчивыя не читаются.

2. На прочтеніе рукописи полагается срокъ отъ 6 недѣль до 2 мѣ-  
сяцевъ.

3. Мелкія рукописи (меньше 1 печатнаго листа) и рукописи стихо-  
твореній не сохраняются, и редакція рекомендуетъ авторамъ такихъ  
произведеній оставлять у себя ихъ копии.

4. По поводу мелкихъ рукописей и стихотвореній редакція не всту-  
паетъ съ гг. авторами ни въ переговоры, ни въ переписку, хотя бы на  
отвѣтъ были приложены марки. Авторы такихъ произведеній, не полу-  
чившіе отвѣта въ теченіе 2 мѣсяцевъ, могутъ располагать ими по сво-  
ему усмотрѣнію.

5. Обратная пересылка рукописей по почтѣ производится за счетъ  
гг. авторовъ и притомъ исключительно *заказной* бандеролью.

Редакторъ принимаетъ по субботамъ отъ 3—5 ч.

Секретарь — по понедѣльникамъ и четвергамъ отъ 3—5 ч.

## ЖАЛОСТНИКЪ.

Разказъ.

*Николаю Сергѣевичу Чернышеву.*

### I.

Изъ всѣхъ богомольцевъ, стоявшихъ въ новой монастырской гостиницѣ, попросили на чашку чаю къ архимандриту только троихъ: отставного, еще не очень стараго генерала съ желтыми лампасами, податного инспектора изъ ближайшаго губернскаго города и пожилого купца, который не въ первый уже разъ бывалъ въ монастырѣ и теперь привезъ небольшой вкладъ по завѣщанію своего дальняго родственника. Время было для простого народа неудобное—подходилъ сѣнокосъ, а для иногороднихъ пріѣзжихъ было еще рано, и богомольцевъ въ монастырѣ было мало. Генераль, податной инспекторъ и купецъ ходили по монастырю все время вмѣстѣ, купались въ Святомъ озерѣ, ѣздили на пчельникъ, гдѣ у купца былъ знакомый монахъ, отецъ Тить, у котораго на пчель рука легкая была, накупили въ монастырской лавочкѣ рѣзныхъ ложекъ, книжекъ и четокъ изъ Богородицыныхъ слезокъ и рѣшили вечеромъ, по холодку, отправиться на тройкѣ до ближайшей пароходной пристани.

— Ежели бы въ Соловецкомъ мы были,—пояснилъ купецъ, когда было рѣшено ѣхать,—тогда, для препровожденія времени, еще можно бы пойти къ отцу погребному сѣмгу въ погребѣ выбирать и потомъ на кухнѣ гостинику кулебяку заказать въ два загиба: одинъ, по-архіерейски, на сливочномъ маслѣ, а другой, по-игуменски, на коровьемъ, а тутъ, помолившись Богу, больше ничего не придумаешь, кромѣ какъ къ архимандриту пойти на дорогу благословиться.

Приглашеніе архимандрита выходило совсѣмъ кстати.

Покои архимандрита были соединены каменнымъ крытымъ переходомъ съ трапезной, построеннымъ въ недавнее время и своей

пестротой нарушавшимъ крѣпостной, кое-гдѣ подновленный, но все еще крѣпкій и строгій обликъ всего монастыря. Внутри переходъ былъ расписанъ масляными красками, грубовато, пестро, но была, должно быть, какая-то опредѣленная мысль внушена расписывавшимъ мастерамъ, которой они неумѣло, но покорно слѣдовали: были изображены многообразныя искушенія, которыя родъ человѣческой претерпѣваетъ отъ дьявола, но искушаемыми были представлены не святые и праведники, а обыкновенные люди, міряне и монахи, наши русскіе обыденные монахи въ клобукахъ и скуфейкахъ, въ русской монашеской обстановкѣ. Это заинтересовало богомольцевъ, и они остановились, чтобы рассмотреть двѣ-три картины, къ тому же генераль, посмотрѣвъ на часы, сказалъ:

— А знаете, господа, къ архимандриту намъ рано: еще нѣтъ трехъ часовъ.

— Ну, не возвращаться же въ гостиницу,—замѣтилъ инспекторъ,—здѣсь подождемъ. Вотъ это созданіе народнаго генія нашего обозримъ,—и онъ указалъ на грубоватыя стѣнныя картины.

Генераль надѣлъ пенснѣ и отошелъ къ окну, приглядываясь къ противоположной стѣнѣ.

— Положительно, это мнѣ нравится,—сказалъ онъ, помолчавъ.

Картина изображала церковь, переполненную монахами и мірянами. Откуда-то сверху на молящихся летѣли красныя розы, а сыпалъ ихъ едва примѣтный маленькій остророжій чертенокъ, притаившійся гдѣ-то у самага купола. Большинство бывшихъ въ церкви не замѣчало красныхъ розъ и продолжало молиться: тутъ были всѣ міряне и бѣольшая половина монаховъ. Другая, гораздо меньшая, половина, очевидно, видѣла, какъ падаютъ красныя цвѣты: нѣкоторые только смотрѣли на розы, другіе старались ихъ схватить, а третьи, поймавъ и нюхая, уходили изъ церкви. Одинъ монахъ набралъ ихъ полную горсть и нюхалъ, жадно поднося въ лицу.

— Какъ мы, русскіе, не любимъ ничего краснаго: посмотрите, эти красныя цвѣты не имѣютъ никакого успѣха,—засмѣялся генераль,—а кто ихъ ловить и беретъ, тотъ изъ церкви выходитъ, т.-е. вѣчнаго блаженства лишается.

Инспекторъ въ парусиновой крылаткѣ улыбулся на замѣчаніе генерала и подергалъ себя за жидковатую бѣлокурую бородку, а купецъ замѣтилъ:

— Едва ли вы вѣрно это изъяснили, ваше превосходительство. Это онъ не красноту наводитъ,—какая въ храмѣ Божьемъ краснота? Красныя туда и не пойдутъ,—это онъ мысли и мечты

промежъ монаховъ сѣть, чтобъ мечтаніемъ ихъ донять и отъ церкви отвести.

— Ну, это тоже очень хорошо,—опять засмѣялся генераль,— это отсюда, значить, пошли наши избитыя „розовыя мечты“: дѣйствительно, розовыя отъ этихъ розъ, что тотъ забавникъ сверху бросаетъ... Но вотъ это, какъ хотите, прелестно!—вернулся генераль къ другой стѣнѣ,—этотъ чортъ, или какъ его? можетъ быть, онъ чиномъ повыше: я плохо различаю ихъ чинопроизводство,—этотъ замѣчательно похожъ на тритона изъ акваріума, а вонъ этотъ—какъ морской конь. Я видалъ такихъ въ Монако: тамъ вѣдь не только въ рулетку играютъ, но еще и морскихъ рыбъ смотрять въ музеѣ. Откуда они такихъ взяли?

— Ни откуда не брали,—сказалъ купецъ.—Кому ихъ охота брать?

— Ну, не сами же они пришли сюда на стѣну, Иванъ Ивановичъ,—вставилъ, улыбнувшись, инспекторъ.

— Конечно, не сами: здѣсь мѣсто освященное и въ церковь проходъ; пути имъ свободнаго нѣтъ.

— Да вы что же это?... въ самомъ дѣлѣ, что ли...—началъ инспекторъ, но его прервалъ генераль:

— Ну, а вотъ это прямо гениально!

Инспекторъ съ купцомъ обернулись на картину, на которую имъ указывалъ генераль. Она изображала лѣстницу, соединявшую земной шаръ въ видѣ глинянаго комка съ райской оградой на синемъ фонѣ. По лѣстницѣ взбирался вверхъ монахъ, а огромный сѣдой безбородый чортъ крюкомъ тянулъ его за мантию внизъ. Ангелъ сверху протягивалъ руку монаху, но рука не доставала до него. Сѣрые и зеленые черти, вооруженные крюками и баграми, стаскивали съ лѣстницы другихъ монаховъ и хорошо въ этомъ успѣвали: всѣ монахи летѣли въ бездну.

— Да это, ваше превосходительство, весьма обычное, въ особенностяхи по старой вѣрѣ, изображеніе,—сказалъ купецъ,—это лѣствица въ царствіе небесное.

— Но какой пессимизмъ, опять-таки нашъ подлинный русскій пессимизмъ!—не унимался генераль.—Монахи эти, которыхъ черти крюками тащатъ, всѣ очень почтеннаго и весьма скромнаго вида и, кажется, всѣ превосходные люди и ничѣмъ не заслужили, повидимому, подобнаго несчастія, и если имъ всѣмъ въ адъ итти, то кому же въ рай? И количественно-то что же это будетъ? Рай для десяти человѣкъ? Стоило ли изъ-за такого пустяка его и устраивать: вѣдь это дѣло нелегкое. И мнѣ думается, здѣсь просто нашъ прирожденный русскій пессимизмъ все на-

дѣлалъ и рай очень ужъ населеніемъ обдѣлилъ,—закончилъ генераль, обращаясь къ инспектору, но тотъ пожалъ плечами.—Я тутъ молчу: вотъ Ивану Ивановичу книги въ руки.

— Никакихъ-съ въ рукахъ не имѣю, — нѣсколько обидѣлся купецъ.

— Намъ, русскимъ, совсѣмъ не на что здѣсь обижаться,—подхватилъ генераль,—и въ особенности настоящимъ русскимъ людямъ, какъ вы, Иванъ Ивановичъ. Это наша русская скромность—и больше ничего. Католики непремѣнно бы всѣхъ своихъ монаховъ въ рай помѣстили, такъ что тамъ тѣснота бы большая была, а у насъ, по нашей скромности, просторно и даже монахами не густо.

— Маломнѣніе у насъ о себѣ большое, это вы вѣрно сказали,—отозвался Иванъ Ивановичъ,—и русскому человѣку это такъ и нужно.

— Не слишкомъ ли у насъ много этого „маломнѣнія“ то,—началъ инспекторъ, но генераль рѣшительно хотѣлъ говорить самъ и, не выждавъ, что отвѣтитъ Иванъ Ивановичъ, сказалъ:

— И вотъ что еще меня удивляетъ. Вы посмотрите. Вѣдь если вѣрить этимъ картинамъ,—а я, какъ православный, не имѣю основанія имъ не вѣрить,—то монахи и подвижники всегда находились въ необыкновенной близости ко всякой недоброй силѣ, и она все время была съ ними по сосѣдству. Вотъ, извольте видѣть, нарисовано, какъ монахъ въ огородѣ траву полеть: простое самое занятіе, а бѣсъ ему всетаки мѣшаетъ: вмѣсто сорной травы какіе-то артишоки, во всякомъ случаѣ нѣчто съѣдобное, подсовываетъ. Другой—здѣсь вотъ, подъ окномъ, изображено—на трапезу пакостить. Но вовсе не всѣ пакостники. Взгляните вотъ на этого, въ простѣнкѣ: онъ просто смотритъ, какъ монахъ молится, и, право, онъ точно почетный караулъ при немъ держитъ: ни пользы, ни вреда отъ него монаху, а почету много: къ плохому монаху не поставили бы. Нужно еще заслужить этотъ караулъ-то. А вотъ этотъ, налѣво, тоже вполне бездѣйствуетъ: монахъ читаетъ, а онъ въ уголку сидитъ—и тоже опять какъ на почетномъ караулѣ: совершенно бесполезно. Что монахъ ни дѣлаетъ, а ужъ онъ, нечистый, тутъ какъ тутъ. По-нашему, по-военному, я сказалъ бы: прикомандированъ, совершенно такъ, какъ къ какому-нибудь заѣзжему принцу прикомандируютъ оберъ-офицера: куда бы принцъ ни пошелъ, и офицеръ съ нимъ иди. Мнѣ самому случилось разъ при одномъ изъ безчисленныхъ заѣзжихъ бергскихъ или бургскихъ быть, двѣ недѣли, не отходя, за нимъ слѣдовалъ и въ такихъ мѣстахъ побывалъ, о которыхъ и не подозрѣвалъ, что имъ мѣсто есть на

бѣломъ свѣтѣ. Ну, вотъ отъ такого долгаго ежедневнаго-то путеводства и сосѣдства пріязнь даже какая-то возникаетъ въ концѣ-концовъ, привыкаешь къ человѣку, и я даже, когда своего бургскаго провожалъ за границу, — хотя былъ радъ этому, потому что очень онъ меня заводилъ, — все-таки слезу пустилъ небольшую: вмѣстѣ однимъ воздухомъ сколько подышано было! Турки тоже, бывало, на войнѣ: дерешься съ ними и думаешь, какъ бы имъ навредить покрѣпче, и они про насъ такъ же думаютъ, а потомъ, глядишь: превосходные люди, и жалко станетъ. Я тогда совсѣмъ пленцомъ подъ Плевну вылетѣлъ, но ясно помню, мы всѣ, отъ солдата до генерала, турокъ гораздо больше братушекъ любили и, когда можно было жалѣть, жалѣли. Люблю это солдатское слово, именно жалѣли. Но, что замѣчательно, врагъ врагомъ оставался, и мы его превосходно били, но вотъ безъ злобы, безъ вражеской радости, дѣло сдѣлаешь, а въ остальномъ свободенъ, и жалѣешь.

Инспекторъ, присѣвшій на подоконникъ, сказалъ:

— Я не совсѣмъ понимаю, генераль, какое отношеніе имѣетъ все это къ монахамъ и чертямъ...

— Самое прямое, — отвѣчалъ генераль. — Я, видите ли, думаю и на опытѣ знаю, что, въ какихъ бы ни былъ человѣкъ враждебныхъ отношеній къ другому, они все равно пріязнь почувствуютъ, если имъ долго бокъ-о-бокъ жить придется. Это своего рода тоже законъ всемірнаго тяготѣнія: тварь къ твари тяготѣетъ. Вотъ я и спрашиваю: неужели же эти монахи, что здѣсь изображены, люди получше и подобрѣе насъ, грѣшныхъ, живя столько лѣтъ бокъ-о-бокъ, въ тѣснѣйшемъ самомъ сосѣдствѣ съ этими чертями, столь жалкими и облѣзлыми, потому что явна неуспѣшность ихъ покушеній на монашескую святость, — неужели же монахи, въ видѣ единственнаго исключенія изъ этого закона, никогда не чувствовали ни малѣйшей жалости къ этимъ своимъ неудачнымъ сосѣдямъ или хоть какой-либо отдаленнѣйшей тѣни пріязни, которую мы къ туркамъ на войнѣ чувствовали? Вѣдь если у монаховъ съ чертями война, то и у насъ тоже война была, и черти, и башибузуки, — а они, честное слово, любимъ чертямъ не уступятъ, — все равно, не сами идутъ, а ихъ, тѣхъ и другихъ, старшой посылаетъ, и итти тѣмъ и другимъ не сладко, въ особенности при безуспѣшности-то дѣла, какъ вотъ здѣсь на стѣнахъ нарисовано. Это все равно, что въ атаку итти, зная, что крѣпость взять нельзя и что весь полкъ ляжетъ безъ пользы. Какъ послѣ этого жалости невольной не имѣть и монахамъ къ своимъ-то туркамъ? Только гора съ горой не сходится... — Инспекторъ засмѣялся, обратившись къ Ивану Ивановичу:

— Что же вы молчите, Иванъ Ивановичъ, и не поймаете его превосходительство на пословицѣ? Вѣдь тамъ дальше-то: человекъ съ человекомъ сходится, а тутъ одинъ-то человекъ, а другой-то какъ будто и не совсѣмъ человекъ.

— Я слушаю ихъ превосходительство. Мнѣ интересно, къ какому они исходу все это сведутъ.

— Я на пословицѣ моей настаиваю,—продолжалъ генераль.— Я даже думаю, что она еще выигрываетъ отъ того, что другой „не совсѣмъ человекъ“, какъ вамъ угодно было выразиться, Петръ Петровичъ. У меня въ объѣздчикахъ и теперь еще служить одинъ такой „не совсѣмъ человекъ“.

— Что вы говорите, генераль,—совсѣмъ ужъ поперхнулся отъ смѣха инспекторъ,—выходить, чортъ у васъ въ объѣздчикахъ служить.

— Ну, не совсѣмъ чортъ, а вродѣ того, — спокойно, но не совсѣмъ довольно продолжалъ генераль.— Онъ изъ башибузуковъ, объѣздчикъ-то мой. Забрали мы его въ плѣнъ совсѣмъ молодого; другихъ казаки приколотили, этого я отстоялъ,—очень ужъ юнъ былъ и красивъ и многихъ-то мерзостей сдѣлать еще не успѣлъ, но кое-что все-таки было, сколько-то душъ болгарскихъ. И вотъ этого-то получорта мы усмирили. Онъ сначала и хлѣба у насъ ѣсть не хотѣлъ и все зубы бѣлые скалилъ да огрызался, а потомъ попривыкъ, по-русски сначала ругаться выучился, а потомъ и другія слова узналъ. Я его къ себѣ въ имѣніе отправилъ, въ Тамбовскую губернію; бѣжать оттуда нельзя: кругомъ гладь такая, что на десять верстъ кругомъ каждый тычокъ виденъ. Тамъ, среди полей, онъ и въ хлѣбѣ нашемъ черномъ вкусъ узналъ, и православіе принялъ, и на русской бабѣ женился, и теперь развѣ только еще зубы скалить не по-нашему, да дѣтишки у него не курносія, а носы съ горбинкой. Вотъ и все отличіе. Такъ мы получорта въ мужики передѣлали и отъ вѣчныхъ мукъ, можетъ быть, хоть на немного избавили. Такъ вотъ я и рассуждаю: отчего бы и монахамъ хоть одного чортика изъ тѣхъ, что посмирнѣе и понеудачливѣе, не привести въ болѣе пристойный видъ? Многимъ изъ нихъ пакости дѣлать, очевидно, нѣтъ никакой охоты,—сужу по этимъ картинамъ,—да вѣдь, знаете, и надоѣсть: все одно да одно; хорошо разъ, хорошо два, но до безконечности—это вѣдь и дураку наскучить, а они отнюдь не дураки. Приказаніе старшаго исполнять исполняютъ, сидятъ около монаховъ, скучаютъ, но дѣлать ничего не дѣлаютъ: что бы этакого-то, усталого, со скукой-то смертной къ своей командировкѣ и образумить: братецъ, молю, не можешь въ человекъ, то хоть въ скотинку полезную обратись,

уволь себя самъ отъ командировки своей, коли старшіе не увольняютъ, а я тебѣ въ этомъ помогу. Это было бы дѣло доброе и, позволю себѣ сказать, христіанское. Я „не совсѣмъ чорту“ въ мужика помочь передѣлаться, и радуюсь, а монахъ, по его спеціальнымъ духовнымъ дарованіямъ, и на большее могъ бы дерзнуть, и совсѣмъ уже чорта передѣлать, съ Божьей помощью, въ того же мужика или въ добрую скотинку. Я очень слабъ въ духовномъ чтеніи и не знаю совсѣмъ, а очень интересуюсь, были ли съ монашеской стороны и чѣмъ кончались такіа попытки—чорта къ Богу вернуть. На этомъ я и кончаю и очень извиняюсь за свое, вѣроятно, уже старческое, многословіе, но, право, вопросъ прелюбопытный.

Петръ Петровичъ оправилъ крылья своей парусиновой размахайки и сказалъ:

— Я, со своей стороны, вашего любопытства удовлетворить не могу. Я вѣдь самъ изъ поповичей и когда-то въ семинаріи всю эту мудрость проходилъ, тамъ гомилетики разныя и патристики, но, помнится, ничего подходящаго къ вашему вопросу не встрѣчалъ. Монахи спасались, черти погибали, вотъ и вся исторія. И думаю, вашими вопросами монахи никогда и не задавались, и никакого попеченія ни о чемъ, кромѣ своихъ душъ, не имѣли. Это вѣроятнѣе всего. Но, впрочемъ, я въ этомъ дѣлѣ—швахъ. Къ тому же намъ уже давно пера итти къ архимандриту. Петръ Петровичъ посмотрѣлъ на часы. Поглядѣлъ и генераль.

— Дѣйствительно, наша чашка чаю давно простыла.

И онъ повернулся къ покоямъ архимандрита. Но тутъ долго молчавшій Иванъ Ивановичъ взялъ подъ руку Петра Петровича и сказалъ оживленнѣе, чѣмъ всегда говорилъ:

— Нѣтъ-съ, это вы неправы. Вопросъ, которымъ заинтересовались ихъ превосходительство, не только прелюбопытный, но очень важный для всякаго, можно сказать, первый въ вопросахъ. И рѣшеніе ему есть, и не отъ нашихъ умствованій, а на Божьемъ основаніи. И весьма-съ многіе изъ иноческаго чина большую скорбь имѣли по этому случаю и у Бога просили, чтобы Онъ ихъ просвѣтилъ, какъ тутъ быть, съ этой черной тварью, и можно ли черноту ея хоть нѣсколько побѣлить? И отвѣтъ есть одинъ, навсегда непреложный. Только трудно его обрѣсти. Я и самъ, если интересуетесь, очень въ юности отъ сего скорбѣлъ и покою не имѣлъ, но послѣ полное разрѣшеніе своего недоумѣнства получилъ и покой, потому что вопросъ сей, дѣйствительно, рѣшенъ. Теперь намъ къ отцу архимандриту итти нужно, но если вы, ваше превосходительство, поинтересуетесь, то я на пароходѣ—

путь-то у насъ немалый—разскажу, какъ я рѣшеніе получилъ; оно не для меня одного дадено, а для всѣхъ. Особо интереснаго ничего не скажу, а правду говорить буду.

Генераль, уже позвонившій у двери архимандрита, дружественно кивнулъ головой:

— Вы намъ, Иванъ Ивановичъ, своимъ разсказомъ не только путь скрасите, но, можетъ быть, еще и нѣчто „доброе и полезное душамъ нашимъ“ сообщите, а къ старости это дорого слышать. Заранѣе говорю вамъ спасибо.

Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было что-то возразить, но въ это время молодой рыжеватый послушникъ въ сѣромъ подрясникѣ открылъ дверь и низко поклонился:

— Пожалуйте-съ. Отецъ архимандритъ давно ожидаютъ.

## II.

На пароходѣ размѣстились всѣ трое въ четырехмѣстной каютѣ. Иванъ Ивановичъ легъ подъ окномъ.

— Солнышко поутру меня разбудить: очень люблю я на водѣ солнышко встрѣчать. Съ самаго дѣтства у меня эта любовь. Бывало, малышами съ птицами встанемъ и сейчасъ на солнышко. Голѣнами по песку бѣгаемъ, зарываемся въ песокъ, а потомъ въ воду.

Онъ повернулся на бокъ, лицомъ къ стѣнкѣ.

— Да вы что, Иванъ Иванычъ,—сказалъ раздѣвавшійся инспекторъ,—вы никакъ спать собрались? А разсказъ?

— Да, да, да,—подхватилъ генераль.—Безъ разсказа мы васъ и на солнышко ваше не выпустимъ изъ каюты.

— Для разсказа тихій часъ нужень,—сказалъ Иванъ Ивановичъ,—а онъ еще не пришелъ.

— Ну, когда онъ придетъ, мы всѣ заснемъ. Я монастырскими тюфяками бока себѣ порядочно намялъ,—отвѣчалъ генераль,—и тихій часъ мой совсѣмъ недалекъ. Нѣтъ, ужъ разсказывайте сейчасъ, Иванъ Иванычъ.

Иванъ Ивановичъ не отказывался, легъ на спину и началъ:

— Я предупреждалъ ваше превосходительство, что разсказъ мой самый простой, и я разсказчикъ неумѣльный. Вотъ братъ мой покойный, Амосъ Ивановичъ, тотъ бы вамъ разсказалъ. Его даже губернаторъ къ себѣ выписывалъ разсказывать, какъ онъ отъ англичанъ въ пятьдесятъ четвертомъ году по Бѣлому морю на льдинѣ спасался и тюленину сырую двѣ недѣли ѣлъ и въ Соловки прибылъ, когда отъ льдины четвертушка всего осталась.

Я родился на Двинѣ-сь, въ Красноборскѣ, маленькій городокъ такой есть, на высококомъ берегу, такъ что обзорѣніе природы оттолѣ очень большое и самое пріятное. Лѣса шумять шумомъ немалымъ на многія сотни верстъ, по рѣкѣ суденышки къ Архангельску плывутъ. Лѣта у насъ не жаркія, а свѣтлыя: свѣтъ дневной, свѣтъ ночной, одинъ другого свѣтлѣе. Это неправда-сь, что у насъ ночи бѣлыя; онѣ не бѣлыя, а все равно какъ, вешній день прохладный. И надъ городомъ духъ смолистый стоитъ, потому что боръ кругомъ. Я свои мѣста очень люблю и нѣтъ-нѣтъ, да и навѣщу. Но это къ слову пришлось только. Въ Красноборскѣ мы по купечеству были не послѣдніе люди: домъ былъ изъ мачтоваго лѣса въ лапу рубленъ, со свѣтелкой, и торговля была по мучной части въ рядахъ. Семья небольшая была у насъ: батюшка съ матушкой да насъ двое братьевъ. Въ огородѣ еще бабушка Дарья жила, свѣчу несгораемую въ избѣ теплила и, когда гроза, бывало, начиналась, со свѣчей въ домъ приходила и передъ образами ставила, и всегда Богъ миловалъ: ни пожара, ни опаленія. Я второй сынъ былъ и здоровешенекъ родился, все ручками сучилъ, словно въ ладоши хлопать хотѣлъ. Матушка на это радовалась, а бабушкѣ это не понравилось: пришла, ладанкомъ меня окурила и говорить:

— Игрунокъ малый-то. Только еще рѣшить надо, чему это онъ радуется и откуда въ немъ игра-то эта.

— Чтò ты, матушка,—батюшка говоритъ мой, Иванъ Ананьичъ.— дитя малое—вотъ и играетъ.

— Иванушко,—отвѣчаетъ,—не отъ себя дитя играетъ, а по произволенію: на иную игру ангелы съ небеси утѣшаются, а на иную—плачутъ.

Понесли меня въ церковь крестить и окрестили чинъ чиномъ: воды холодной я не испугался, а все ручками всплескивалъ. Росъ я, какъ всѣ ребята въ нашемъ купеческомъ положеніи растутъ: лѣтомъ только поѣсть домой забѣжишь и зимой все на улицу просишься. Приволье у насъ: и лѣса, и воды. Въ дѣтствѣ только и узнаешь приволье: дальше жизнь тѣсная. Няней ко мнѣ Даниловну приставили, бобылку съ ближняго погоста. Засыпаешь, бывало, а Даниловна все передъ образами поклоны кладетъ. Постоить, постоить—и опять на землю падетъ и лежитъ, приникши. Послѣ ужъ мнѣ сказали, что это она особый поклонъ за грѣхъ клала. А какой грѣхъ—этого никто точно не зналъ. И всегда такъ дѣлала: въ храмъ ли, на людяхъ ли, все равно. Всѣ знали: „Даниловна особый поклонъ за грѣхъ мечетъ“. Стала она меня молитвамъ учить,—у насъ всегда это, по купечеству, няни

дѣлывали; „Богородицу“ я легко выучилъ, а вотъ какъ „Отче“ начали,—тутъ оно и пошло, о чемъ я вамъ разказать хочу. Мы въ свѣтелкѣ съ Даниловной жили. Висѣлъ у насъ въ углу Спасъ съ Предтечей. Она поставитъ меня на колѣнки и велитъ, бывало, „Отче“ за собой повторять. Каждый день я то словечко, то два, а то и три запомню, читаю вслухъ и все крещусь. Я любилъ молиться. И все шло хорошо, „Отче“ къ концу приходило, Даниловна меня хвалитъ, а я стараюсь. Тутъ-то и вышло.

Иванъ Ивановичъ, сбросивъ одѣяло, сѣлъ на койку. Онъ былъ въ бѣлой до пять рубахъ, перевязанной синимъ пояскомъ съ вытканной на немъ молитвой. Генераль заворочался на койкѣ и, рѣшительно откинувъ одѣяло, молвилъ:

— Духота невозможная.

— Съ вечера очень парило,—откликнулся Иванъ Ивановичъ.— Грозъ бы не было. Тутъ грозы бываютъ сильныя.

— Вашъ тихій часъ въ самомъ разгарѣ, Иванъ Ивановичъ,—сказалъ инспекторъ.—Мы слушаемъ.

— Ну-съ, вотъ дошли мы до лукаваго—въ „Отче“ то-есть. И, какъ сейчасъ помню, Даниловна стала на колѣни подлѣ меня и учить. Надо бы сказать: „И избави насъ отъ лукаваго“, а она читаетъ: „и избави лукаваго“. Я скоро это запомнилъ, въ землю поклонился, твержу: „и избави лукаваго. Аминь“, и крещусь съ усердїемъ, по дѣтской своей простотѣ. А Даниловна гладитъ меня по головѣ и хвалитъ. Такъ я и затвердилъ молитву очень крѣпко и каждый день, утромъ и вечеромъ, ее читалъ, и за лукаваго молился, пока къ священнику на духъ не пошелъ: прочту: „и избави лукаваго“, и земной поклонъ. А матушка на исповѣдь пустила меня поздно. Я прошусь, бывало, въ церковь говѣть, а она: „Ты младенецъ еще,—тебѣ такъ можно причаститься. Богъ не взыщетъ“. Не хотѣлось ей, чтобъ я изъ младенчества выходилъ: я послѣдышъ былъ. Даниловна моя на зимняго Николу померла, а въ великое говѣнье повели меня на духъ къ отцу Семену, въ соборъ. Спрашиваетъ отъ меня: „Знаешь, Ванюшка, молитвы?“—„Знаю, говорю, батюшка. „Богородицу“ знаю, „Отче“ знаю“.

— „Ну, молодець,—говорить.—Ты Бога знаешь—и Онъ тебя знать будетъ. Прочти „Богородице Дѣво“. Я прочелъ.—„Отче“ теперь читай“. Началъ я „Отче“, и робость моя прошла: такъ бойко ему читаю—„и избави лукаваго. Аминь“, а отецъ-то Семень какъ схватитъ меня за руку: „Что ты, говорить, что ты! Опомнись, глупый! Сотвори крестное знаменіе, прочти съ начала, да не тараторь, языку воли не давай“. Я ничего не понимаю, стою, кре-

щусь, опять робость на меня напала, „Отче“ началъ сѣзнова—и опять свое: „и избави лукаваго“.—„Да что-жь ты,—кричить на меня отецъ Семень,—безумецъ, за лукаваго молитвословствуешь! Иди отъ меня. Не могу тебя исповѣдывать. Двѣ недѣли поклоны бей, а потомъ приходи. Въ храмъ Божьемъ за врага рода человѣческаго молишься! Я уже къ отцу зайду“. А я плачу-разливаюсь, ничего не понимаю. Пришелъ домой, меня спрашиваютъ: „Что ты, Ванюшка, скоро возвратился?“ А я весь въ слезахъ. „Прогналъ, говорю, меня батюшка“. Уняли меня и къ бабушкѣ отвели къ несгораемой свѣчѣ, а къ вечерку и отецъ Семень къ батюшкѣ пришелъ. Тутъ все и объяснилось. Позвали меня къ отцу.—„Какъ тебя Даниловна молиться учила?“ А я забоялся и молчу.—„Прочти „Отче“.—Собрался я съ духомъ, прочелъ. Опять „избави лукаваго“. Отецъ Семень батюшкѣ говоритъ: „Слышите, какъ за лукаваго ревнуетъ? Нешто это молитва Господня? Это мерзость одна. Тѣфу! Мнѣ, пастырю, и слушать-то непристойно. Кто его чертованью-то этому обучилъ?“ Матушка моя покойница плачетъ, отецъ прогналъ меня къ бабкѣ и говоритъ: „Дура Даниловна всему причина. Она, по безграмотью своему, парня въ грѣхъ ввела“. А отецъ Семень на это: „Нѣтъ, это не по безграмотью. И не въ этомъ дѣло. Молитва младенца доходчива, и Богъ молитвы ихъ слушаетъ,—значить, Богъ теперь все это сколько лѣтъ слушалъ, какъ онъ за врага Господня молился. Объ этомъ грѣхѣ даже въ большемъ требникѣ не сказано—вотъ какой это грѣхъ“. И долго они съ отцомъ покойнымъ говорили, и велѣли мнѣ, за епитимью, каждое утро и вечеръ до девяти поклоновъ класть въ честь чиновъ ангельскихъ и „Отче“ переучить. Наутро приходитъ къ матушкѣ богадѣлка, что при соборѣ прислуживала. Матушка говоритъ ей: „А у насъ, Аннушка, горе: Ваничка-то семь лѣтъ за чернаго молился. И какъ теперь ту молитву избыть—никто не знаетъ, а откуда онъ перенялъ ее—ума не приложу“. Богадѣлка этому не удивилась нисколько, отвела матушку въ уголокъ и говоритъ: „Я давно это запримѣтила, еще какъ его въ купель погружали. Купель-то подъ самымъ образомъ Второго пришествія поставили, гдѣ онъ намалеванъ. Какъ стали Иванушку-то въ воду погружать, показалось мнѣ: онъ на него съ иконы глазищемъ вперился. Сердце во мнѣ тогда упало. Я ничего не сказала, смущать никого не хотѣла, а ясно это мнѣ было, какъ подъ его глазомъ въ купель младенца погружали. Онъ его и сглазилъ. Вотъ глазъ-то теперь наружу и вышелъ“. Матушка еще больше послѣ этого огорчилась. Я черезъ двѣ недѣли опять на духъ къ отцу Семену пошелъ, „Отче“ переучилъ, причастился я—и, все

по-хорошему пошло. Учиться я начал грамотѣ и забывать даже сталъ, что о лукавомъ столько лѣтъ молился. Только нѣтъ,—еще многія скорби меня ждали, о которыхъ я и думать не могъ.

Стою я какъ-то на молитвѣ вечерней у себя въ свѣтелкѣ. Лѣтомъ было; свѣтъ идетъ по всей комнатѣ ровный и ясный—ночи у насъ очень хороши. Лампадка передъ Спасомъ горитъ. И вспомнилось мнѣ съ чего-то, какъ мы съ Даниловной здѣсь вдвоемъ мѣливались, я ей царства небеснаго мысленно пожелалъ, помянулъ за упокой, сталъ родственниковъ за здравіе поминать. Набѣгался я въ тотъ день и усталъ. Зѣвалось мнѣ.

Вдругъ слышу, будто мнѣ на ухо кто явственно говорить: „А за меня-то что же не помолишься?“

Я—двѣнадцать лѣтъ мнѣ было—испугаться, помню, не сильно испугался, а точно повело меня всего какъ-то, дрожу.

— „Семь лѣтъ молился, а теперь пересталъ“, *тотъ* шепчетъ. Я крестъ на себя кладу за крестомъ, а самъ бѣжать изъ свѣтелки. Батюшка съ матушкой еще не ложились. „Что, говорятъ, съ тобой? Лица на тебѣ нѣтъ“. А я не знаю, что сказать, и боюсь чего-то, боюсь вотъ весь, дрожу съ головы до ногъ, плачу. Бабushку съ огорода позвали. Я къ ней спать ушелъ подъ несгораемую свѣчу. Согрѣлся, дрожь перестала, уснулъ,—и опять цѣлое лѣто все хорошо было.

А съ осени снова началось: ничего не слышится, а будто безпокойство какое-то: то шалѣю, пою, бѣгаю, слѣду матушкѣ со мной нѣтъ, всѣмъ докучаю, а то притулюсь гдѣ-нибудь съ книжкой и на буквы смотрю, слоги слагаю въ слова, а ничего не понимаю. Рябитъ передъ глазами. Больно. Идетъ время. И зародилась у меня дума: какъ же это я прежде молился, а теперь нѣтъ? Это и не нужно молиться, я знаю, но только та-то молитва—куда же она пошла? Я это тогда не такъ, не въ такихъ словахъ думалъ, но вотъ объ этомъ самомъ, это я вѣрно помню и вамъ говорю. Я на духу батюшкѣ рѣшилъ открыться, а потомъ самъ себя перече: „Что-жъ онъ мнѣ скажетъ?—думаю.—Я „Отче“ давно перучилъ, и чернаго слова не держу на языкѣ, и въ церковь хожу. А *это* все—не отъ меня. И даже такъ думаю: „если Аннушкина правда и *его* глазъ на мнѣ съ малолѣтства, что же я съ этимъ подѣлаю? И человѣчій глазъ снять трудно, а тутъ не человѣчье. Самъ же отецъ Семень говоритъ, что о моемъ грѣхѣ даже въ большемъ требникѣ нѣтъ ничего“. Вотъ къ этому-то мнѣ все и думалось, когда я постарше становился и священныя книги отцовы сталъ читать. „Отчего, думаю, не сказано: все сказано, а объ этомъ нѣтъ? Оттого ли, что и писать грѣхъ объ этомъ, или,

быть можетъ, и грѣха никакого въ этомъ нѣтъ, въ молитвѣ-то моей прежней за черную тварь, а только не знаетъ объ этомъ никто у насъ въ Красноборскѣ? Мало ли о чемъ не сказано въ книгахъ! Такъ развѣ это все грѣхъ? Вотъ всѣ знаютъ, что пчела—Божья работница и чище человѣка иного живетъ, въ праведности, а гдѣ объ этомъ писано? Грѣхъ и пчелъ водить для Божьяго храма?“ Думаю все, думаю.

И разъ, когда ужъ я отцу помогать въ лавкѣ сталъ за приказчика, лѣтъ семнадцати, стою за прилавкомъ; лавку запираить надо, молюсь на образъ, а отъ него опять внушается:

— „Что-жъ ты за меня не молишься? Прежде молился, а теперь—нѣтъ. Вотъ оно, ваше людское добро-то“.

Я ужъ привыкъ къ этимъ слухамъ своимъ и только перекрестился на это, заперъ лавку, снялъ шапку, на три стороны помолился, иду себѣ домой. На базарной площади нищій стоитъ у старой будки. Пыль на солнцѣ золотится, столбомъ играетъ. Тихо такъ. Воробьи овесъ просыпанный клюютъ. Я въ молодости былъ близорукъ: щурюсь на солнце, какъ оно сквозь пыль лучи косятъ, а самъ достаю изъ кошелька копейку и хочу нищему подать. Онъ и руку ужъ протянулъ. Слышу:—„И за меня копеечку подай“.

Жуть напала на меня. Нищій съ деревяшкой мнѣ поклонился. Лицо у него нехорошее: все въ яминахъ. Пошелъ я домой. Пыль въ глаза. Вѣтерокъ. Пришелъ, съ маменькой поздоровался, ужинать сѣлъ. Нудно мнѣ. Молчу. Не можется. Думаю: „Скажу все маменькѣ: она за меня помолится“. А посмотрю на нее: что ее печалитъ? Жалко. И помочь она мнѣ не можетъ. Соображаю: въ своемъ ли я умѣ или мѣшаюсь и мнѣ это представляться начинаетъ передъ полнымъ помутненіемъ? Нѣтъ: все помню, и счета въ лавкѣ веду правильно безъ прочетовъ, и самого себя наблюдаю.

Легъ спать. Не спится. Все голось этотъ слышу—и не хорошо говорить: гундѣво да гнусно—„И за меня копеечку“. Я всталъ, въ садъ сошелъ, чтобы его не слышать, хожу по дорожкѣ; березки молодыя шумятъ. Хожу и считаю, сколько шаговъ прошелъ, а надъ ухомъ все гундить:

— „Молиться не хочешь—копеечку за меня подай. По копеечкѣ, по чужой копеечкѣ на четвертачекъ наберу, по четвертачку на рубликъ, а съ рубликомъ я и въ рай постучаться могу къ самой задней дверкѣ, съ курью лазейку“.

Хожу, хожу, мысли свои прогоняю, „Живый въ помощи Вышняго“ псаломъ читаю—и нудить мнѣ все нутро этотъ голось, и

гудить, какъ шмель, и все одно и то же. Заплакалъ я, перекрестился на церковный крестъ и говорю: „Господи, заглуши ты его. Силь моихъ больше нѣтъ. Не могу его слышать. Вразуми Ты меня: гдѣ Твое, гдѣ его?“

А самъ незамѣтно на огородъ вышелъ, къ бабкиной избушкѣ. Дверь отворена. Заря за боромъ полыхаетъ. Бабушка печку топить. Увидала она меня и говоритъ: „Что, игрунокъ, ходишь, ночь смущаешь? Или игра тебя заиграла?“ И смотритъ на меня: глаза слезятся, слезки въ морщинки, какъ въ желобочки, попадаютъ и текутъ. Я радъ ей. „Бабушка, говорю, очень мнѣ нудно“. Она мнѣ морковку изъ грядки вытянула, о передникъ обтерла, землю отлупила, подаетъ: „На, поѣшь“. Я ѣмъ и чувствую, что очень усталъ. Бабушка на траву тюфячокъ вынесла и постелила около крылечка. Я и заснулъ на утреннемъ холодкѣ.—Такъ день за днемъ идетъ, я таюсъ, что мнѣ не по себѣ, перевозмогаю себя, но отъ матери, отъ отца развѣ скроешь? Ъздили мы въ монастырь на Сію, по зимнему пути. Я молебень чудотворцу отслужилъ; отецъ муки на трапезную пожертвовалъ. То легче мнѣ, то опять тяжелѣй. И голосъ два раза за зиму слышалъ. Въ Красноборскѣ у насъ все про cadaго извѣстно; городъ маленькій и живешь, какъ на ладони: отовсюду видно. Нехорошо говорить про меня стали и не стыдились при матери, при отцѣ:—„Чертыханецъ“, говорятъ. Мать вступится за меня: „Какой Ваня чертыханецъ? Онъ и слова-то чернаго отродясь не выговаривалъ: вотъ Богъ свидѣтель“. А ей отвѣчаютъ: „У него,—у меня то-есть,—черное слово не на устахъ, а на умѣ: тамъ его держать. Оттого его всего и ведетъ“. Рядскіе молодцы уговариваютъ нашего приказчика: „Не служи, молъ, у чертыханца: онъ черное слово съ собой носить“.

Весна идетъ, а мнѣ худо. Сны я нехорошіе сталъ видѣть. Прежде не бывало этого со мной: иной разъ совсѣмъ безъ сновъ сплю, или что-нибудь пустынное увижу: такъ, вздоръ какой-нибудь. А тутъ не то. Я рано ложился спать: товарищей у меня не было и съ людьми мнѣ было неловко: я стыдился...

— Чего же вы стыдились, Иванъ Ивановичъ?—вдругъ вставилъ генераль.—Вотъ этого я ужъ и понять не могу. Никакого стыда для васъ изъ вашего разсказа я не вижу. Вотъ оно, маломнѣіе-то русское, о которомъ мы давеча говорили.

Генераль спустилъ ноги съ койки, надѣлъ туфли и прошелся по каютѣ.

— Я, наоборотъ, думаю, что на людяхъ вамъ было бы легче. На людяхъ и смерть красна.

— Нѣтъ, мнѣ стыдиться было чего: значить, я заслужилъ скорбь мою и какъ же бы я ее на людей понесъ? Помочь они мнѣ не помогли бы, потому что она была не отъ людей, а за-скорбѣть ихъ я могъ бы, и это новый бы грѣхъ мой былъ.

Сны я нехорошіе сталъ видѣть. Легъ я какъ-то, послѣ все-нощной, и сразу заснулъ накрѣпко. И вижу я: будто сѣноваль сѣномъ почти доверху напиханъ, а на сѣнѣ голая дѣвка рыжая лежитъ, простоволосая. Срамно смотрѣть. Мнѣ и во снѣ мутно, не хочу смотрѣть на нее, да глазъ не спрячешь. А около стѣнки бревенчатой парень стоитъ высокій и тоже голый, грудастый, тѣло бѣлое-бѣлое, точно бабѣ, но видно, что мужикъ. Рожу осклабилъ и хохочетъ на весь сарай. „На кого ты смѣешься-то?“—спрашиваю, а самому говорить съ нимъ мерзко.—„Али не видишь?“—отвѣчаетъ и на дѣвку пальцемъ тычетъ.—„Да что?“—„Да мышъ родила. Мышиное дите девять мѣсяцевъ носила, мышью животъ пучила. Я и самъ скоро щениться буду: пѣсика рожу“.—Хохочетъ и животъ впередъ выставляетъ, а самъ мнѣ въ лицо заглядываетъ: глаза у него мутные, будто посинѣлое молоко въ нихъ налито,—и въ душѣ у меня словно высмотрѣть ими что-то хочетъ, не сводить съ меня. И мышъ гдѣ-то пицить. Тутъ я проснулся. Цѣлый день сонъ этотъ изъ головы не выходилъ и противно было мнѣ на себя смотрѣть,—такъ противно, что я и сказать не могу.

А другой сонъ такой былъ. Подъ утро было. Я въ четыре часа проснулся и опять заснулъ. Мѣшки какъ будто летаютъ. И откуда ихъ, думаю, столько? Такъ вотъ и кружатъ, пылью сѣются. На дорогѣ пыль и въ воздухѣ пыль. Идетъ мужикъ въ картузѣ. Я его спрашиваю: что это за мухи-то летятъ? „А я, отвѣчаетъ, не знаю. Гдѣ летятъ?“ Да здѣсь, вездѣ. „Не вижу“, говорить. Я посмотрѣлъ: у него вмѣсто глазъ билетики сѣрые прилѣплены изъ сахарной бумаги. Босой онъ. Сѣлъ на траву у канавки, протянулъ ноги. „Вымой, говорить, мнѣ“. А я мухъ все отъ лица отгоняю, чтобъ въ глаза не попали. Я будто и согласенъ ему ноги мыть, только воды нѣтъ. „Это ничего“, онъ мнѣ на это замѣчаетъ, „плюнь на землю: слюной вымой“. Противно мнѣ стало, а самъ всетаки отвѣчаю: слюны, дескать, не хватить. Онъ какъ захохочетъ: „Слюны не хватить! Ты слюнявый! Слюнявъ ногу-то, слюнявъ!“ А мѣшки туча-тучей крошатся. Поднял ногу и пнулъ меня въ грудь. Тутъ меня мальчикъ изъ лавки разбудилъ. Къ ранней обѣднѣ звонятъ въ соборѣ. Я одѣлся и пошелъ къ обѣднѣ. Возшелъ на паперть и стало мнѣ скорбно: что со мной будетъ? Весь я грязный и скверный. Скверное добраго

не сквернить, а къ скверному льнетъ. Обѣдня только началась. Я свѣчки поставилъ. Сталъ у образа Ильи Пророка; будто въ себя входитъ началъ. Не помню, какъ обѣдня кончилась. Чувствую: кто-то трогаетъ меня за плечо. Обертываюсь: отецъ Семенъ стоитъ и просвирку подаётъ: „Хорошо ли молился-то?“, спрашиваетъ. Не знаю, батюшка. „За кого не надо, не молишься ли?“ Нѣтъ, отвѣчаю. Только тоска у меня. „То-то. Блудись этого. Ну, Богъ съ тобой. Церковь запирать надо“.

Я благословился и пошелъ, не заходя домой, въ лавку.

### III.

У насъ подъ Красноборскомъ есть погостъ въ пяти верстахъ, на дорогѣ. Тамъ были у насъ родственники, а у тѣхъ своякъ тамъ же постоянный дворъ держалъ. Отецъ послалъ меня въ погостъ по дѣлу. Я у родственниковъ остановился; они меня ласкаютъ и привѣчаютъ. Къ свойственникамъ завезли погостить. Тѣ тоже рады. Отъ другого ли мѣста или оттого, что съ людьми я все время былъ, на душѣ у меня посвѣтлѣло немного.

Сижу я разъ на лавочкѣ передъ домомъ. Вечерѣло. Никого не было. Слышу: бабка свойственниковъ-то въ окошко кличетъ: „Петя пріѣхалъ“. И правда: дрожки подъѣхали, парень слѣзаетъ въ шведской курткѣ, будто охотникъ, а ружья нѣтъ. Поздоровались мы,—онъ оказался внукъ бабкинъ. Станный онъ мнѣ показался: блѣдное лицо, и все по-немъ усмѣшка бѣгаетъ, вотъ какъ тѣнь отъ тучи по лугу. И кажется мнѣ: это онъ на меня усмѣхается. Ну, думаю, рассказали, значить, ему про чертыханство мое. Пошелъ онъ въ домъ. Тамъ ему ужинать собрали, бабка стала постель ему стелить, и опять мнѣ странно показалось: всѣмъ стелеть вмѣстѣ, на полу, а ему особо, въ сѣнцахъ. Онъ это увидалъ и говоритъ, опять же съ усмѣшкой: „И ему вмѣстѣ со мной стели“, указываетъ на меня: „мы съ нимъ одного прихода“. Бабка его не слушаетъ, стелеть мнѣ со всѣми. Онъ посмотрѣлъ, собралъ въ кучу мой тюфячокъ, отнесъ въ сѣнцы и рядомъ положилъ со своимъ. Бабка меня въ сторону отвела и говоритъ: „Лягъ ужъ ты съ нимъ, съ Петей-то“. Да отчего же, говорю, не лечь. Мнѣ все равно. „Онъ у насъ особенный. Мы его боимся, а ты чужой, тебѣ ничего“. Чего же вы боитесь? Бабка молчитъ. „Такъ, молъ, есть одно дѣло. Видится ему иногда нехорошо“. Ну, думаю, мы съ нимъ и впрямь одного прихода.

Легъ я съ Петей. Онъ на меня смотритъ, и будто усмѣшки на немъ поменьше стало.

— Не боишься со мной спать?—спрашиваетъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаю.—Чего бояться?

— Вотъ ихъ спроси, чего,—на домашнихъ показываетъ.

Раздѣлись мы. Онъ рубашку смѣнилъ кубовую, въ которой прѣхаль, розовую надѣлъ. Смотрю: на шеѣ у него креста нѣтъ. Я ничего ему не сказала, накрылся одѣяломъ, лежу, и лицо его мнѣ видно—чистое лицо, приглядное; глаза у него хорошіе, сѣрые, со слезой, ясные. Закрываетъ онъ глаза; я рѣсницы вижу, и отъ нихъ точно тѣнь на лицѣ. Усмѣшки нѣтъ, а блѣденъ очень. Открылъ Петя глаза, на меня смотреть. И жалко мнѣ его стало, самъ не знаю отчего.

— Я про тебя знаю,—говоритъ, и опять усмѣшка пошла по лицу.—Я вѣдь тоже съ чернымъ словомъ. Только оно у меня другое: помнить не помню, а на устахъ всегда держу.—Онъ поддвинулся ко мнѣ.—Ты меня не бойся. Очень я чертыхаюсь, наши со мной отъ этого особую сторону держать. Нельзя имъ съ моимъ чернымъ словомъ пить, ѣсть и работу работать. Я и самъ знаю. Сны мнѣ некому рассказывать, а я безъ сновъ не сплю. Уйду въ огородъ, въ баню, тамъ самъ себѣ рассказываю, чертыхаюсь. И креста не ношу: поганить крестъ не хочу.

Я и сказать не могу, какъ мнѣ жалко его стало. Все мнѣ припомнилось: про себя все вспомнилъ. Наклонился я надъ нимъ, смотрю въ лицо, а по лицу у меня—чувствую—слезы заслезились; и себя жалко, и его, и сказать ничего не умѣю. А онъ:

— Ничего. Я привыкъ. Я тебя давно поджидалъ. Онъ тебя молиться просить?

— Просить,—говорю.

— Молишься?

Я къ подушкѣ прижался и, что самъ себѣ не открывалъ, ему говорю:

— Молюсь.

— Словами?

— Словами не молюсь, а въ себѣ знаю, что молитва идетъ.

— Крестъ носишь?

— Ношу.

— Ну, ты счастливый,—говоритъ, и улыбка на немъ большая играетъ.—А я не могу. Дай-ка крестъ-то посмотри. Я давно креста не видалъ.

Я его слушаюсь, снимаю крестъ съ шеи, подаю. Онъ взялъ въ руки крестъ, держитъ его подальше отъ лица, смотреть. Я ему въ лицо глянулъ: ну, такая улыбка, будто онъ и одолѣть ея не можетъ. Онъ откинулъ одѣяло, сѣлъ на постель на кор-

точки. Лѣвой рукой голыя колѣни обнялъ, правой въ отдаленіи крестъ держать и все глазъ отъ него не отрываетъ. Ноги у него бѣлыя, худыя. Смотрю: дрожь по нему пошла и колѣнка о колѣнку ударяетъ, а онъ лѣвой рукой ноги стискиваетъ. Поднялъ онъ крестъ высоко правой рукой, а самъ все смотреть, размахнулся и со всего размаху въ уголъ бросилъ. Всталъ на постели во весь ростъ—и усмѣшки нѣтъ.

— Возьми,—говорить,—спрячь крестъ, а то я его ногами растопчу и оплюю. Я вѣдь это могу.

Я поднялъ крестъ, надѣлъ на себя и ничего ему сказать не могу: ничего не помню и не соображаю.

— Ну, спать, что ли, давай,—онъ мнѣ говорить.

А я накрылся съ головой одѣяломъ и плачу.

Пѣтухи послѣдніе поютъ. Онъ мнѣ поправилъ подушку, сѣна подъ нее подворошилъ и самъ накрылся одѣяломъ. Я ему сказать что-то хочу: горевые мы съ тобой, говорю. А онъ такъ строго взглянулъ на меня, на другой бокъ перевернулся.

— Будетъ,—говорить.—Нечего тутъ разговаривать. Терпѣть надо. Я спать хочу.

И заснулъ скоро, а мнѣ не спится. Гляжу, какъ онъ дышитъ во снѣ; лицо бѣлое, и прядь волосъ ему лобъ переградила. Дышитъ ровно. Думаю себѣ: видно, слава Богу, спать безъ сновъ. Тихая дрема на немъ. Онъ руку откинулъ на одѣяло. Тутъ и я забываться сталъ и не помню, какъ заснулъ. Онъ же меня и разбудилъ.

— Вставай,—говорить, и одѣяло мое открываетъ.—Я тебѣ сонъ рассказывать буду.

Словно ударилъ онъ меня этимъ словомъ.

— Да ты развѣ видѣлъ?

— А ты думаешь, я безъ сновъ спать могу? Когда сны видѣть не хочу, тогда я спать совсѣмъ не ложусь, по огороду хожу или на рѣку зайду, въ лодкѣ гребу, а то дрожки заложу—и въ лѣсъ.

И опять на немъ усмѣшка. Я одѣваюсь. Онъ мнѣ сапоги вычистилъ.

— Я сегодня пустоту видѣлъ.

Говорить это, а я замѣчаю: голосъ у него совсѣмъ другой, чѣмъ ночью: грубѣе, словно не его.

— Какъ пустоту?—спрашиваю.

— Не перебивай. Будто все на землѣ пустое. Днища ни въ чемъ нѣтъ. И все проваливается. И я будто проваливаюсь. Церкви провалились, лѣсъ провалился, вода провалилась. И мнѣ не жал-

ко. Пусть. Только поля жалко, и хочется мнѣ, чтобы хлѣбъ остался: дозрѣлъ бы, а тамъ пусть. Я люблю во ржи гулять. Иду я и замѣчаю: пустота вездѣ, и если еще что и стоитъ, то тоже на пустотѣ: все равно, дно гнилое и выпадетъ, какъ изъ квасного боченка. Лѣса провалились, и древесины для доньевъ нигдѣ уже достать нельзя. Кто же это старается-то, думаю, кто-жъ донья-то отовсюду вышибъ? „А я стараюсь, говорить старичокъ, маленькій, желтенькій, сапожки въ пыли, я Божій работничекъ“. Ну, наши скотину выпускать стали, меня и разбудили. Вотъ видишь, я теперь цѣлый день сонъ помнить буду. А у тебя такъ бываетъ?

— Бываетъ,—отвѣчаю.

А самому страшно.

— Привыкнешь. Я привыкъ. Другимъ снова никому не рассказывай: только себѣ самому можно да тому, кто такіе же видитъ.

Тутъ въ сѣнцы вошла бабка и въ избу позвала. Петя меня на другой день и въ городъ на дрожкахъ отвезъ. Всю дорогу молчалъ, а когда къ городу подъѣзжать стали, молвилъ:

— Ты людямъ не вѣрь, что *это* отъ тебя убудетъ: къ кому пришло, съ тѣмъ въ землю уйдетъ. А привидится что-нибудь,—мнѣ говори. Вмѣстѣ легче. Я въ городъ не поѣду. Здѣсь слѣзай. Тамъ на меня злы.

Люди видѣли, какъ я съ Петей ѣхалъ, и молва пошла про меня еще хуже: „чертыханецъ чертыханца спозналъ“. Въ лавкѣ однажды покупатель спросилъ меня: „Зачѣмъ чорта въ поминаніе записалъ?“ „Чортовымъ молитвенникомъ“ прозвали.

И нашло на меня озлобленіе. Молчу. Сижу дома, а самъ думаю: вписалъ въ поминаніе, ну, и пусть вписалъ. Чтѣ я съ собой подѣлаю? А за лукаваго молюсь, такъ что-жъ? Надо-жъ и за него кому-нибудь молиться. Никто ничего не знаетъ. Можетъ быть, это крестъ на меня особый наложенъ: за *него* молиться и муку за то терпѣть. И буду терпѣть. Какое въ молитвѣ зло можетъ быть? И развѣ добро зла перевѣситъ не можетъ? А я злого для него, для чернаго-то, ничего не дѣлаю. Съ бабой еще ни съ одной не знался и не хочу ихъ: срамно мнѣ съ ними и противно. Отца и мать почитаю. Въ церковь хожу. Дѣлаю отцовское дѣло. Не для гордости все это исчисляю, а для ясности. Кресты на людяхъ разные бываютъ: моего креста люди не видывали, вотъ и злобятся на меня, но вѣдь это теперь только, а прежде, можетъ быть, въ другомъ мѣстѣ, и другимъ такіе же кресты выпадали, чтобы за нечистаго молиться и зато отъ людей терпѣть скорбь. Богъ-то все видитъ: Онъ одинъ судить будетъ.

И одинъ случай очень меня въ этихъ мысляхъ подвинулъ. Бабушка наша отдала Богу душу. Стою я въ церкви за отпѣваніемъ, и врѣзались мнѣ, какъ огнемъ, слова: „Боже духовъ и всякія плоти...“ Пришелъ съ кладбища, все думаю: какъ же это такъ? Если сказано: „Богъ духовъ“, то это такъ и есть, а не обозначено, какихъ: добрыхъ ли однихъ или и злыхъ, значить, тѣхъ и другихъ: всѣ Его твореніе. Опять же и другое: „всякія плоти“, ужъ если „всякія плоти“, то и черной значить. Тварь и они, плоть и они. Почему-жъ тогда Творцу-то твари и Господу плоти о нихъ не молиться? Помилуетъ ли Онъ ихъ, это Его воля, и знать ее мы не можемъ, а просить Его въ нашей волѣ. Вѣдь это и на землѣ, не только что на небѣ, такъ ведется: царя обо всѣхъ просить можно, о послѣднемъ разбойникѣ - душегубцѣ, чтобы помиловаль, а помилуетъ ли,—мы не знаемъ. Такъ неужели же Царь небесный земного царя недоступнѣй и немилостивѣй, что даже и просить о милости запрещаетъ? Не можетъ этого быть. И сталъ я опять за лукаваго каждый день молиться, только не какъ прежде: „Отче“ читать: „избави лукаваго“, я „Отче“ читалъ правильно, а о немъ молитву всегда въ концѣ при себѣ имѣлъ другими словами, но о томъ же-съ.

— Какія-жъ это были слова?—спросилъ генераль.

— Словъ не помню, и благодарю Бога, что теперь не помню въ томъ особую милость Божию вижу, что забылъ, но только слова были мои, самочинныя и очень простыя-съ. Я и Петѣ ихъ не говорилъ, и сами они у меня какъ-то сложились. Ими я и молился.

Изрѣдка я къ Петѣ ѣздилъ на погостъ: онъ самъ въ городъ не любилъ показываться. Выйдемъ оба на рѣку, а если зимой, то въ лѣсъ пойдемъ. Снѣгъ хруститъ. Тихо. Оба мы молчимъ или сны другъ другу рассказываемъ. Я этого не любилъ, но Петя, бывало, просить: „Тебѣ легче будетъ, говорить, если расскажешь: изъ тебя память эта сонная уйдетъ“. Я замѣчаю: ему хуже все было. Очень мало онъ спалъ и, что замѣчательно, когда не спитъ ночи двѣ-три, блѣдный ходитъ, точно больной, а покойнѣе и веселѣй. Даже смѣялся иногда и бабѣ лѣпилъ изъ снѣгу, либо ребятишекъ съ горъ катаетъ. Они его любили и только когда постарше становились, приходила къ нимъ боязнь и сторонились. Дома на него совсѣмъ рукой махнули: дали волю и не лѣчили ужъ, а прежде по святымъ мѣстамъ возили. Когда же плохо ему было, онъ самъ свое время зналъ: въ баню уходилъ или меня къ себѣ вызывалъ: ему отчертыхаться нужно было. Осенью случился грѣхъ: Петя ночью снялъ образъ изъ передняго угла,

Преображеніе, унесъ въ чуланъ да капустной сѣчкой и порубилъ. Только не до конца: лики остались, лишь кое-гдѣ краска облупилась. Отецъ его тогда бить хотѣлъ, да бабка не дала, и поселили его совсѣмъ отдѣльно, въ пустой горницѣ: стѣны однѣ. Туда и поѣсть носили. Въ большую избу, гдѣ иконы были, Петю не пускали, чтобъ новый грѣхъ не вышелъ. Батюшка съ матушкой мои очень просили меня не знаться съ нимъ, и я самъ понималъ, что мнѣ съ нимъ еще скорбнѣе, но не могъ отъ него отойти: жалко. А самъ все за чернаго молюсь. Къ батюшкѣ на духъ не пошелъ въ Великое говѣнье: думаю, послѣ отговѣю, а тамъ раздумье взяло, и не пошелъ.

Послѣ распутицы пріѣхали къ намъ съ погоста и говорятъ: „Петрушка-чертыханецъ померъ. Въ банѣ угорѣлъ“. Въ городѣ говорить стали: „По одномъ другѣ преисподній соскучился, другого на раззаводъ оставилъ“. Это про меня. Я съѣздивъ въ дальнее село по Петѣ панихиду отслужилъ: у насъ-то мнѣ служить бы не стали. А ужъ было мнѣ девятнадцать лѣтъ. Какая скорбь у насъ въ домѣ была, я сказать не могу, и не предвидѣлось ей конца. Братъ мой давно женился, отдѣлился отъ отца, въ Архангельскъ уѣхалъ торговать рыбой. Отецъ старѣеть, домъ и лавка—все на мнѣ. Жениться мнѣ выходитъ время, а кто за меня, за такого, пойдетъ? И хуже мнѣ, хуже, самъ знаю. Очень тоскую. Петя ночью меня будто кликаетъ, грустно такъ, тихимъ своимъ голосомъ, ночнымъ, покличетъ, какъ кукушка, и опять тихо. Я сорокоустъ за него заказалъ въ монастырѣ.

Годъ прошелъ, пришла весна. Она у насъ поздняя, но радости отъ нея много. Воды широко разливаются. Птицы летить видимо-невидимо. Гуси гогочутъ въ небѣ. Гомонъ стоитъ. Садъ у насъ зазеленѣлъ. Я по воскресеньямъ копалъ въ саду грядки. Отъ земли запахъ идетъ теплый и пріятный. Возьму горстку земли, поднесу къ лицу и нюхаю. Ивановъ чай длинный выросъ. Трава высокая и частая. Полдень былъ. Я на грядкахъ сижу, отдыхаю. Солнце играетъ. Тихо. Тепло. Трава не шевелится. Смотрю: сѣренькій катышекъ по травѣ катится, весь въ пушку, все равно, какъ воробышекъ сѣрый, только не разберешь, гдѣ головка, гдѣ ножки, кругленькій весь, какъ колобокъ. Кувыркъ, кувыркъ по травѣ, докатился почти до ногъ моихъ—и нѣтъ его, словно въ землю ушелъ. Я смотрю, а перекреститься мнѣ и невдомѣкъ, всталъ съ грядки, усмѣхнулся даже про себя: какъ онъ ловко подкатился. А что это, о томъ и думы у меня нѣтъ. Помню, засмѣялся даже. Отошелъ отъ грядокъ, вышелъ на дорожку. Тихо. Солнце свѣтитъ. Мутить меня, будто я падалъ сѣлъ. Топно.

Душу воротить. Дошелъ до дому, сѣлъ на ступеньку. Маменька въ окно меня увидала. „Что съ тобою?“, спрашиваетъ. Точно мнѣ что-то. „Сѣлъ, должно быть, что-нибудь нехорошее“. Нѣтъ, говорю, ничего не ѣлъ. „Выпей парного молочка съ черносмородиновымъ листомъ“. Вынесла она мнѣ чашку съ молокомъ. Я пью, а чашка въ рукѣ дрожить; искоса смотрю на траву. Вѣтерокъ пробѣжалъ. Ивановъ чай на вѣтеркѣ волнуется. Облачка пробѣгаютъ по небу. Мутно мнѣ.

— Ты бы пошелъ въ боръ ландышковъ поискалъ,—матушка мнѣ говорить.—Что ты сегодня скучный?

Я ничего не отвѣтилъ, ушелъ въ комнату, и долго такъ просидѣлъ, ни о чемъ не думая. Рано легъ спать. Утромъ муть прошла, а все тѣло какъ будто мятое: лѣнь рукою двинуть. Тяжко мнѣ.

Такъ жилъ я въ скорби и конца ей не видѣлъ, а конецъ подходилъ.

У насъ былъ дальній родственникъ Ѡминъ, Никандръ Петровичъ, мы дядей его называли. Онъ торговалъ книгами старопечатными и иконы стараго письма скупалъ по деревнямъ. Въ три-четыре года разъ бывалъ онъ у насъ въ Краснороскѣ, и привезетъ, бывало, свой коробъ лубяной, и начнетъ раскладывать свои покупки, и самъ любитъся. И чего-чего у него не было: оклады отъ образовъ, питье старинное, подноси изъ жемчуга, кожанья книги, чуть не въ пудъ вѣсомъ. И замѣчательно, что ни одной онъ книги не читавши не продавалъ. Суровый лицомъ былъ старикъ: борода, какъ у преподобнаго Онуфрія—тонкая и длинная, и въ сѣдинѣ у него до старости три волоса оставались черныхъ. Брови себѣ онъ стригъ, потому что очень волосаты были и до вѣкъ падали. Приѣхалъ онъ къ намъ, а передъ тѣмъ долго, года четыре, не былъ: въ другихъ мѣстахъ собиралъ товаръ. „У васъ, говорить, въ вашихъ мѣстахъ, хорошаго Божьяго благословенія,—иконъ то-есть,—не стало. Я на Печору поѣду“. Отецъ мой, должно быть, ему рассказалъ про меня, потому что скорбь большая была у него за меня, а у насъ въ гордѣ не съ кѣмъ ему было слова обо мнѣ сказать.

Дядя сидитъ какъ-то, пьетъ чай и жемчугъ пересыпаетъ въ коробочки по сортамъ, а я къ себѣ въ комнату шель.

— Поди-ка, сюда,—говорить,—молодецъ.

Я подошелъ.

— Что ты скучный какой?

— Должно быть, веселья на мою долю не напасено,—отвѣчаю.

И не радъ, что онъ со мной заговорилъ: я тогда совсѣмъ ужъ отъ людей отошелъ,—не люблю съ людьми быть.

— Выпей, молъ, стаканчикъ чайку.

— Я ужъ пилъ,—говорю—благодарствую,—а самъ уйти отъ него норовлю.

А онъ прямо мнѣ и отрѣзалъ:

— Я бы твоему горю легко помогъ, да теперь у меня книги этой нѣтъ. Вотъ бѣда. Рѣдка она очень. До трехсотъ цѣлковыхъ доходить ей цѣна.

— Я не понимаю,—говорю ему,—про какую вы книгу мнѣ говорите?

— Про такую, что черные не любятъ.

Взяла меня досада:

— Что-жъ о ней толковать, коли ея нѣтъ.

Повернулся уйти.

— Да ты постой, торопыга, нельзя этого такъ оставить. Книгу эту я тебѣ достану и привезу.

— Да вы скажите, что за книга? Можетъ быть, я ужъ читалъ ее: зачѣмъ вамъ и трудиться съ ней.

— Не читалъ ты. Если-бъ читалъ, у насъ съ тобой этого и разговора бы не было. А книга эта—митрополита Петра Могилы требникъ, кievской печерской печати. Черные не выносятъ ея, и очень она отъ чернаго слова или дѣла пользуется.

Пошелъ у насъ съ нимъ разговоръ. Я къ столу присѣлъ и разговорился, слово за слово, рассказалъ ему про все и про то, какъ катышекъ ко мнѣ катился. Сказалъ про это—и остановился. Думалъ: онъ смѣяться надо мной будетъ или чертыханцемъ обзоветъ и прогнать, а онъ наоборотъ: серьезно такъ посмотрѣлъ на меня и въ сумкѣ рыться у себя сталъ. Пакетики тамъ у него лежать, лѣстовки, маленькія иконки, ладанки изъ парчи. Порылся и достаетъ оттуда маленькій пучокъ сѣрой травки.

— Дѣло твое, говорить, плохо, коли ты его видѣть сталъ. На вотъ, возьми покуда,—и подаетъ мнѣ пучокъ.—Зашей въ холстинку и носи на гайтанѣ. Прогнать его—это не можетъ, а тошноту отъ тебя отшибетъ, потому что онъ не выносить духа этого. Понюхай, какъ пахнетъ.

Я къ носу поднесъ, и, дѣйствительно, духъ отъ травки идетъ рѣзкій—не то мятой, не то ладаномъ: въ монастыряхъ такъ пахнетъ.

— Коли ты черное слово нѣсколько лѣтъ слышишь и въ себѣ носишь, оно обязательно въ черный разговоръ перейти должно, а тамъ и онъ покажется—черное дѣло будешь видѣть и самъ въ концѣ-концовъ сдѣлаешь. А тогда ничего не поможетъ. Черное дѣло сдѣлать—все равно какъ дерево срубить: срубилъ—пня въ дерево не оборотишь. Катышкомъ его, говоришь, видѣлъ?

— Катышкомъ,—отвѣчаю, а самъ думаю: „и зачѣмъ я ему это говорю? Вотъ привязался, бровастый“

— Въ пушкѣ?

— Да, будто такъ.

— И раньше ничего такого не видываль?

— Думается, не видываль. Во снѣ многое видаль.

— Я не про сонъ говорю, про явь спрашиваю.

— Въ яви впервой.

— Ну, такъ, говорить, всегда и бываетъ. Это *онъ* къ тебѣ *чертункомъ* подкатился. Сперва *онъ* всегда, когда придетъ время *ему* объявиться, катышкомъ-чертункомъ къ человѣку подкатится, и это ничего, выдержать можно: только мутить отъ этого и на блѣвъ позываетъ. Потомъ *чертушкой* явится—чортовымъ младенчикомъ: это *онъ* полуобразъ человѣческой на себя возьметъ,—и это еще выдержать можно: смрадно душѣ, а можно. И послѣ этого еще путь къ Богу не заказанъ, и просвѣтленіе ума получить можно, если Владычицѣ „Преображеніе ума, Филаетъ“ помолиться и поскорбѣть. Еще дѣло не потерянное. Но ежели этотъ разъ пропустить, *онъ* въ третій разъ явится, и не чертункомъ, и не чертушкой, а въ своемъ настоящемъ видѣ. Тогда и конецъ, кто *его* увидалъ: вынести *его* вида невозможно простому человѣку, лицо человѣческое отъ него въ трепетъ приходитъ, и все, до послѣдней кровинки, содрогается, и сердце до смерти заидетъ, человѣкъ умираетъ непремѣнно, и помѣшать этому ужъ невозможно.

Я слушаю дядю, и пустота какая-то во мнѣ, какъ у Пети покойника. Мысли во мнѣ, чувствую, бродятъ такія, что лучше не жить. Отчаяніе взяло меня. Всталъ я со скамьи, пучокъ травки отбросилъ и злобно такъ говорю дядѣ:

— Что-жъ вы мнѣ все это говорите? Я и безъ васъ знаю, что покою мнѣ не будетъ и измытарить *онъ* меня до конца. Вотъ вы бы лучше, чѣмъ рассказы рассказывать, мысли во мнѣ оставили и черное слово изъ меня вынули.

А *онъ* на меня не разсердился ничуть и спокойно такъ:

— Этого я, говорить, не могу. На это власть особая нужна. И книги у меня той нѣтъ. Ты помнись долженъ, что я тебѣ сказалъ. Слѣди за собой: какъ *второе* увидишь, что я говорилъ, все брось и уѣзжай...

— Куда я поѣду?—я ему отвѣчаю.—Отъ себя развѣ уѣдешь? Я о *немъ* все думаю и Богу за *него* молюсь: отъ этого и видится *онъ* мнѣ.

— Я разсуждать съ тобой не хочу,—отвѣчаетъ,—мнѣ ѣхать

съ зарей надо въ Извѣково иконы смотрѣть, „Умягченіе злыхъ сердець“, но я черезъ день вернусь. Тогда мы съ тобой къ одному человѣку поѣдемъ, а ты помни, что я тебѣ сказалъ.

— Никуда я не поѣду,—отвѣчаю ему.— Мнѣ дома хорошо. И все это пустой разговоръ.

Хлопнулъ дверь и ушелъ къ себѣ въ комнату. А дядя, дѣйствительно, на зарѣ уѣхалъ. „Вотъ, думаю, отъ одного жалостника непрошеннаго Богъ избавилъ“.

Но въ тотъ же день плохо мнѣ было. Сны у меня короткіе были и я ихъ поутру забывалъ, но оттого еще тяжелѣй стало: вспомнить ничего не могу, а мученіе ночное во мнѣ. Томно мнѣ.

Зима была. У насъ день короткій: не успѣлъ оглянуться, ужъ сумерки. Я свѣчу зажегъ и сидѣлъ у себя въ горницѣ—счета провѣрялъ за муку. Наши всѣ спали. Горница у меня низкая; я ужъ давно изъ свѣтелки перебрался на низъ. Щелкаю на счетахъ, больше ничего не слышно во всемъ домѣ. Записываю въ расходную книгу, сколько кому отпущено крупчатки. Щелкъ, щелкъ. И вдругъ слышу,—ну, такъ ясно слышу, какъ вотъ вы мой голосъ теперь слышите: обмануться невозможно, что слышу,—ребенокъ гдѣ-то пищитъ жалостно и тонко, словно котенокъ. Остановился я, пересталъ считать. Пищитъ. „Что, думаю, никогда этого у насъ не было въ Красноборскѣ; неужели дѣвка какая-нибудь родила и къ намъ, къ крыльцу, подкинула?“ Я себя увѣряю, что ничего не слышно, и костяшками на счетахъ щелкаю. Пищитъ. Не могъ я стерпѣть, пошелъ въ прихожую, накинулъ шубу, отперъ дверь, на крыльцо вышелъ. Свѣгъ идетъ липкій. Темнота. Никого не видно и не слышно. На ступенькахъ сугробъ намело. Вернулся въ горницу. Точно дитя рожденное пищитъ тоненькимъ голоскомъ. Жуть меня захватила. Уйти бы. Куда уйдешь?

Я цѣлую ночь за счетами просидѣлъ, все слушалъ. Часамъ къ шести стихло. Я, не раздѣваясь, на постель легъ. Слышу, полозья скрипятъ. Въ окошко кто-то постучалъ. Я посмотрѣлъ: ничего не видно. Отперъ крыльцо. Дядя Никандръ Петровичъ пріѣхалъ. Лошадь фыркаетъ. Онъ въ мою горницу зашелъ. Постель не разобрана. Свѣча горитъ. Онъ меня ничего спрашивать не сталъ.

— Ну, завтра,—говорить,—ѣдемъ.

Я ему радъ.

— Я отцу скажу, чтобъ онъ тебя пустилъ со мной. Собери, что нужно. Дней на пять поѣдемъ, а можетъ быть, и больше прогостимъ. Поѣдешь?

— Поѣду.

— Ну, а теперь спать давай.

## IV.

На другой день мы и поѣхали. Отецъ меня съ перваго слова отпустилъ. Куда ѣдемъ—неизвѣстно.

Снѣжокъ вился цѣлый день рѣденькій, и дорога легкая была, и ѣхать не холодно. Я давно не ѣздилъ далеко отъ дому и радъ былъ холодку.

Дядя Никандръ Петровичъ мнѣ по дорогѣ про свою торговлю рассказывалъ и очень занятно было его слушать: какіе жемчуга бываютъ на свѣтѣ, на какой цвѣтъ отливъ у нихъ есть и какой отливъ цѣнится дороже и почему, въ какіе годы жемчугу родъ: передъ войной родъ ему бываетъ обильный, потому что жемчугъ слезы пророчить. Я слушаю его, дышу холодкомъ, по сторонамъ смотрю: изъ лѣсу выѣхали, что подъ городомъ, полями недолго проѣхали и опять въ лѣсъ. И пошелъ лѣсъ крупный и старый. Я въ этой сторонѣ прежде не бывалъ—лѣсная сторона, дикая. Выѣхали мы съ разсвѣтомъ; о полдень лошадей у лѣсника покормили, опять въ путь. Дорога въ сторону свернула. Снѣгъ высоко на ней лежитъ, плохо умятъ, мало ѣзды. Весь день ѣхали.

— Скоро ли, дядюшка, приѣдемъ?—а куда—и спросу у меня нѣтъ.

— Къ полдню приѣдемъ завтрашній день.

Переночевали на постояломъ дворѣ. Нанялъ дядя мужика, опять въ сторону своротили. Лѣсъ—стѣна стѣной. Къ полудню лѣсъ рѣдѣть сталъ, поляна большая открылась, а на полянѣ, въ отдаленіи, стоитъ монастырекъ: одна глава синяя выглядываетъ и колокольня съ зеленой кровлей.

— Вотъ и приѣхали,—говоритъ дядя и велитъ мужику около воротъ у домика тесоваго остановиться.

Изъ трубы дымъ идетъ. Въ домикѣ встрѣтилъ наоъ монахъ, горницу намъ отвелъ и принесъ поѣсть. Очень мнѣ вкусно показалось съ дороги. Печка большая въ горницѣ съ лежанкой, а изразцы всѣ съ фигурками и надписи на нихъ занятныя написаны. Къ примѣру, помнится, олень представленъ, бѣжитъ во всю мочь, а на головѣ у него между роговъ сидитъ воронъ и голову ему долбитъ клювомъ. Вверху надписано: „Самъ погибель свою несу“. Или: ракъ пятится къ рѣчкѣ, и надпись: „Путь мой труденъ зѣло“. Я на лежанку сѣлъ погрѣться, разулся и разсматриваю картинки. Очень мнѣ было занятно, а дядя ушелъ куда-то. Потомъ зазвонили въ монастырѣ, должно быть, къ вечернѣ. Я не

знаю, итти мнѣ или нѣтъ. Грустится мнѣ что-то. Снѣжокъ кружится за окномъ. Сумеречно. Я объ себѣ не думаю и ничего мнѣ будто не надо, только грустно.

Пристроился я на лежанкѣ, пригрѣлся и задремаль. Сколько спаль, не помню; просыпаюсь, свѣча горить, и дядя съ монахомъ сидятъ за столомъ и тихо разговариваютъ. Я всталъ съ лежанки, шурюсь на свѣтъ и зѣваю.

— Хорошо ли вздремнулъ-то?—монахъ меня спрашиваетъ.

Запомнилось мнѣ его лицо: румянецъ играетъ по всему лицу, а борода сѣдая и волосы сѣдые на головѣ, но, точно у молодого, курчавятся.

— Хорошо,—отвѣчаю, а самъ зѣваю.

— Ну, у тебя сна еще на всю ночь осталось,—монахъ пошутить, вставая съ мѣста.—И впрямь ложитесь-ка вы спать, съ дороги устали, а завтра, Богъ дастъ, все ладно будетъ.

Простился съ нами и ушелъ.

— Это отецъ Евсей, ризничій здѣшній,—дядя объяснилъ и начинаетъ стелить постель.

Я жду, что мнѣ скажетъ что-нибудь, а онъ молчитъ и дѣлаетъ свое дѣло, какъ будто меня и въ горницѣ нѣтъ. Дремота меня одолѣваетъ, самому на себя удивленіе: сейчасъ только спаль и опять спится.

— Ну, молись Богу да ложись,—дядя говоритъ.

Я раздѣлся, легъ и опять заснулъ, точно не спаль двѣ ночи: крѣпко, сразу и до утра безъ сновъ проспаль. Поутру ударилъ сильный морозъ. Я къ обѣднѣ одинъ рѣшилъ пойти; дядя ушелъ пораньше, а я надѣлъ полушубокъ, хрущу снѣгомъ и смотрю, какъ дымки вьются надъ монастыремъ: то тутъ, то тамъ изъ трубъ завьются. Я въ святія ворота вошелъ, иду къ церкви; солнце выкатилось, какъ красный шаръ, а дымки все вьются и лѣсенкой къ небу восходятъ. Прямо-то передо мной церковь, а справа—кельи монашескія въ два жилья, и вижу: во второмъ жильѣ открыто окно, словно лѣтомъ, и монахъ оттуда на меня смотреть, совсѣмъ сѣдой, а лицо дѣтское. Протянетъ руку за окно и крошки сыплеть, а подъ окномъ галки подѣдають. Ряса на немъ, какъ халатикъ, и на головѣ высокая скуфейка. Онъ на меня смотреть и улыбается, а мнѣ на него улыбочиво.

— Что же это я въ церковь-то не иду?

Я спохватился и посмотрѣлъ на монаха: онъ ужъ окошко затворилъ, а всетаки на меня смотреть, и пошелъ въ церковь. Какъ всегда дѣлаль, поставилъ за Петю свѣчку на канунъ. За себя-то я года два ужъ не молился: стыдно мнѣ имя свое про-

износить передъ Богомъ. Обѣдня отошла. Ъсть мнѣ очень хочется. Дядя говорить:

— Мы не пойдемъ на трапезу, намъ въ горницу принесутъ.

Пошли мы къ себѣ въ горницу, сѣли за столъ и ждемъ. Голось за дверью проговорилъ, какъ обычно по монастырямъ:

— Молитвами святыхъ отецъ нашихъ, Господи Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ.

Надо на это всегда „аминь“ отвѣчать, а дядя молчитъ. Я говорю:

— Дядюшка, что-жъ вы не амините?

Дядя вышелъ изъ-за стола:

— Аминь,—говорить и въ поясъ кланяется.

А въ двери тотъ самый монахъ стоитъ, который изъ окошка на меня смотрѣлъ. Подносикъ у него въ рукахъ, а на немъ чашка съ капустой, жбанъ съ квасомъ, хлѣбъ ржаной. Дядя до земли поклонился ему, а монахъ меня увидалъ, головой киваетъ и весело такъ говорить:

— Ну, вотъ, галокъ накормилъ, теперъ галчонка пришелъ покормить. Черненькія во славу Божию насытились, пусть черненькій поѣстъ.

И смотритъ на меня какъ будто однимъ глазкомъ, и улыбка на лицѣ у него играетъ милая. Дядя поднялся съ земли, суетится, норовитъ подносъ принять у монаха:

— Что же вы сами-то, батюшка отецъ Пареевій..

Но тотъ и договорить не далъ.

— Самъ, самъ съ усамъ... Вотъ черненькаго пришелъ покормить: онъ, чай, проголодался.

И мнѣ ложку суетъ въ руки и ломоть хлѣба для меня солить. Дядя стоитъ, не садится за столъ.

— Садись, рабъ Божій, я самъ съ вами поспѣдаю.

„Отче“ прочелъ и сѣлъ. Я ѣмъ, а онъ мнѣ все подбавляетъ. Я ужъ говорю:

— Не могу больше, батюшка, сытъ.

А онъ на меня смѣется:

— Чего не могу? Ъшь, ѣшь, черненькій. Бѣленькіе капустку сажали,—и меня по головѣ погладилъ.

Ручка у него маленькая съ синими жилками: жилка съ жилкой сходится.

— Ты добренькій,—говорить,—я тебя знаю: ты за черненькаго молился. Поѣшь, поѣшь.

Я на него смотрю, и весело мнѣ, ну, такъ вотъ весело, что смѣхъ свой скрываю и скрыть не могу, а самъ все ѣмъ. У него

на лицѣ, подѣ лѣвымъ глазомъ, была родинка—съ хлѣбный шарикъ. Онъ мой смѣхъ замѣтилъ и говорить:

— Видишь, и у меня черненькое есть, не у одного тебя,—и на родинку показываетъ.

Всталъ изъ-за стола.

— Теперь ты поѣлъ, — говорить, — молись Богу, да пойдемъ черненькихъ кормить.

Я крещусь, ничего не понимаю, а онъ ужъ изъ горницы съ подносикомъ идетъ легкой походкой и меня манить. Я за нимъ, не отстаю, и не замѣчаю, что полушубокъ забылъ надѣть. Рукамъ стало холодно: дую на нихъ. Онъ къ кельѣ подошелъ и на меня улыбается опять:

— Ишь, ты,—говорить,—какой красненькій теперь сталъ! Ну, корми черненькій черненькихъ, корми, — и суетъ мнѣ въ руки ломоть хлѣба.

Галокъ слетѣлось десятка два. Я крошу хлѣбъ и сыплю имъ, а онъ вокругъ него ходять и носами по снѣгу стучать, подбирають крошки. Скормилъ цѣлый ломоть.

— Теперь пойдемъ ко мнѣ,—говорить.

Привелъ въ келью къ себѣ. Стѣны голыя и холодокъ въ кельѣ. Въ углу горитъ лампадка и Божьей Матери Казанской образъ. Книга на аналойчикѣ раскрыта, и восковая свѣчка прилѣплена къ ней. Травами въ кельѣ пахнетъ: не то мяткой, не то полынькой. Я, какъ малое дитя, смотрю на него и думаю: „что будетъ?“ Вспомню про себя, какъ онъ меня капустой кормилъ, и весело мнѣ опять. А онъ дверь за собой на крючокъ заперъ, подносики поставилъ на подоконникъ, на образъ помолился и мнѣ поклонъ отвѣсилъ.

— Ну,—говорить,—разсказывай, какъ ты за черненькаго молился.

И лицо у него совсѣмъ по-другому смотреть, пристально такъ и внимательно.

Я остановился посреди кельи и не знаю, что говорить. И подумать не подумалъ, а такъ будто во мнѣ мелькнуло: „Что я тебѣ за разсказчикъ?“ Молчу. Нехорошее мнѣ думается. Уйду. Лучше уйти. Не было бы чего. Онъ глазами на меня вскинулъ и ясно говорить, слово къ слову

— Разсказывай. Говори. Я за черненькихъ не маливался,—хочу поучиться, какъ молиться нужно.

Не могу понять: въ серьезъ онъ это говорить или смѣется. Но лицо серьезное и улыбки нѣтъ. И такъ мнѣ вдругъ скорбно стало.

— Батюшка,—говорю,—я самъ отъ этого избавиться хочу, а вы научить просите.

— Прошу, говорить, истинно прошу. Ты вѣдь добренькій, оттого и за черненькихъ молишься, а я злой, все о себѣ радѣю. Какъ же мнѣ не просить? Я ото всѣхъ доброты прошу, потому что я злой и черненькихъ не люблю.

Плачетъ душа моя, на него глядячи, а молчу, на посошокъ его смотрю, что въ уголь поставлень, на постель дощаную. Упалъ я передъ нимъ на колѣни и плачу, плачу. Уткнулся ему въ под-  
ясникъ, а онъ на стульце сѣлъ, и передохнуть отъ слезъ у меня силы нѣтъ.

— Заступи ты меня...—прошу его и плачу.

— Что ты! что ты!—Онъ на меня руками замахалъ, съ колѣнъ меня поднимаетъ и даже стульце немного отодвинулъ.—Развѣ я могу? Я ничего не могу. Ты жалостникъ, а я безжалостный, всѣхъ не жалѣю, о себѣ помню. А вотъ я тебѣ лучше про жалостника расскажу, про другого, про добренькаго, который за черненькаго молился...

— Положи земной поклонъ. Скажи: „Помяни, Господи, усопшаго раба Твоего, схіеромонаха Сергія, и учини душу его въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова“... И я съ тобой помяну.

Помолились мы, онъ и говоритъ:

— Ну, вотъ и хорошо. А теперь слушай, что я тебѣ расскажу. Сядемъ рядкомъ.

Сѣли мы на дощаную постель. Я отъ слезъ еще не отошелъ. Онъ меня по головѣ погладилъ.

— Я любить никого не умѣю, и ты меня за это прости: я неумѣлый. Батюшка отецъ Сергій намъ пособить. Онъ жалостникъ былъ великій. Я въ обители нашей съ молодыхъ годовъ живу и у него келейникомъ былъ и сподобился любовь его видѣть. Съ дѣтства онъ всѣхъ жаловалъ: птичку увидить—птичку, цвѣтокъ—цвѣтокъ, и меня, недостойнаго... Птицы къ окошку его послѣ праведной его кончины цѣлый годъ летали, все жалостника своего ожидали, ибо отъ него получали трапезу, и монаха, который послѣ батюшки Сергія въ его кельѣ поселился, хлопаньемъ крыль своихъ будили на зорькѣ... И все думалъ батюшка: „Все ли я Божье жалѣю и въ памяти держу, и нѣтъ ли еще чего, какой твари, не жалѣемой мной, окаяннымъ?“ А скажу тебѣ, милый, и не потаю, что около него черненькій жилъ, который къ нему былъ приставлень, яко къ крину доброму. Мнѣ невидимо, а ему вѣдомо, иной разъ я отлучусь на трапезную и слышу издалека, какъ батюшка говоритъ: „Ну, тебя. Будетъ ужъ“, и все рукой въ

лѣвую сторону отмахивается. А то, о чемъ сказывать буду, не въ мою бытность при батюшкѣ было, а прежде того, и батюшка мнѣ при концѣ своемъ только открылся объ этомъ, жалости ради. „Тебѣ, говорить, то не нужно, а другимъ въ потребу можетъ пойти“. Черненькій давно былъ около него поселенъ и сначала причинялъ ему великую скорбь, мыслями и образомъ его донималъ, и мечтаніемъ стлался передъ нимъ, и навѣты отъ братіи навѣтывалъ, и блазилъ, и дѣлами вредилъ неукротимо, и мучилъ. И много лѣтъ, сколько—не знаю, терпѣлъ батюшка отъ него. Въ концѣ же годовъ черненькій постигать сталъ, сколь безплодны труды его и сколь мало—мню: ничтоже—онъ успѣлъ, и сокрушился, и впалъ онъ въ нѣкое бездѣйствіе. Около праведника пребываетъ, ибо къ тому приставленъ княземъ тьмы, и уйти не смѣетъ, а творить злое нѣтъ у него почина. И такъ жилъ онъ долгіе годы при батюшкѣ, и всѣ обычаи его вѣзналъ, и правило его понималъ постническое и подвижническое, и позналъ, что ему не преобороть праведнаго, и видитъ себя празднымъ ради высоты Сергіевой. А батюшка его тоже вѣзналъ хорошо и съ кротостью съ нимъ обращался. Ежели суетитъ тотъ суетою, батюшка ему: „Сиди, пакостникъ, смирно“, и совершаетъ свое правило со спокойствіемъ нимало не злобясь на того. Или укорить его: „Овча черная, овча черная, праздно злобствуешь“. И тотъ смиреніе сіе чувствовалъ и впалъ въ уныніе, такъ что, какъ песъ, скулить сталъ, унылый. А батюшка его же спроситъ: „Чтò ты, тварь?“ И въ единый часъ услышалъ отъ него: „Изнываю“. Батюшка крестомъ себя крѣпкимъ осѣнилъ, приблизился къ оному и спросилъ: „Чѣсо хочещи, тварь?“—„Изжилъ житье мое, отвѣчаетъ. Осмердѣло мнѣ бездѣлье мое и нужда моя, ибо только нуждою пребываю около тебя. Знаю, что не могу исхитрить тебя и исхитить...“—„Нѣтъ,—отвѣчаетъ батюшка,—по великому своему смиренію, можешь, и успѣешь въ семъ надо мной, окаяннымъ, если Господь попуститъ сему, ибо я грѣшенъ паче мѣры легкой, и весь твой, и ангелы плачутъ обо мнѣ...“—„Сіе не ты говоришь, а смиреніе твое говоритъ,—упорствуетъ окаянный,—вотъ оттого-то я и безвластенъ исхитить тебя“. А батюшка ободряетъ его, по простотѣ своей, что если Богъ попуститъ, то еще исхититъ его и во всемъ успѣетъ. Сей же вновь говорить: „Вѣдаю, что безсиліе мое велико, изнываю, и прошу тебя: свѣдай обо мнѣ, не возможно ли покинуть мнѣ образъ житія моего и новое обрѣсти. Я омерзѣлъ себѣ и жажду перемѣны“. Батюшка прогнѣвался на него сперва и прогналъ: „Что ты, тварь глупая, измыслила, черная?“, но по жалости своей великой, думалъ о семъ и у Бога наставленія просилъ: „Воз-

можно ли сему переменѣну обрѣсти и образа смраднаго отвергнуться?“ И предался онъ жалости, и такъ о семъ скорбѣлъ и молился, чтобъ наставилъ его Господь, что былъ посланъ ему Ангель Божій въ видѣніи и сказалъ: „Сіе возможно, если сей устами своими Тривпостасную пѣсню ангельскую *святый Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный*, отъ коей нѣкогда отрекся, трижды вновь изречеть и трижды же возопіеть въ ней покаянно: *помилуй мя*“. И сказавъ то, Ангель сдѣлался невидимъ.

Жалостникъ великій возрадовался сему и говоритъ бѣсу унылому: „Внимай, овча черная. Трисвятое трижды возгласи и будетъ по желанію твоему: отнимется отъ тебя образъ смрадный и иной дастся тебѣ. Отважишься ли? Можешь ли сіе?“—„Могу, отвѣчаетъ, ибо, отвергнувъ себя отъ лица святаго, и князь нашъ не отвергалъ бытія сего крѣпкаго и Безсмертнаго. Отъ сего-то и уныніе наше: вѣдалъ, яко сый, и не чтимъ, яко Благій“.—„Можешь ли, унылый, тако исповѣдать, дерзнешь ли?“ паки его батюшка вопрошаетъ. „Могу, и съ легкостію даже“, отвѣтилъ ѳный. И сказалъ ему батюшка: „Говори же сіе“. И легко возопилъ тотъ: „*Святый Боже, и второе: Святый крѣпкій, и третье славословіе: Святый безсмертный*“. И радовался сему батюшка Сергій великой радостью, и ликовалъ сердцемъ милующимъ за тварь спасающуюся... Но конечнаго же возношенія, что за симъ слѣдовало: *помилуй мя*, сего-то и не могъ произнести тотъ несчастный. „Что же молчишь?—вопросилъ его батюшка.—Признавъ Бога крѣпкаго и Безсмертнаго исповѣдывавъ, что же не присовокупилъ, несчастный, отъ ничтожества своего величію Его: *помилуй мя*?“—„Не могу,—отвѣтствовалъ тотъ,—не могу. Сіе сверхъ силы моей“, и отошелъ прочь, гордый, и пребывалъ, гдѣ прежде былъ, въ злобномъ уныніи. А отецъ Сергій предался плачу и плакалъ горько и долго, доколѣ не было открыто ему: „Видишь ли дерзновеніе твое? Ради одного смиренія твоего открыто тебѣ это и прощено твое вопрошаніе. Сія тварь, единая въ тваряхъ, вѣдая Бога крѣпкаго и безсмертнаго, не проситъ помилованія себѣ, единаго слова *помилуй* не хочетъ вложить въ уста свои, и всуе проситъ милости не просящему милости и не ищущему ея. Ибо Богъ не нудитъ къ себѣ неволею ни единаго изъ твари, сотворенной Имъ, но свободно приходятъ къ Нему“.

Послѣ сего, по немногомъ времени, поступилъ я, будучи еще совсѣмъ юнъ, въ келейники къ батюшкѣ и не единожды слышалъ, глупый, какъ онъ укорялъ нѣкоего и называлъ его „овчой, паки погибшей“, и горько обличалъ, и порицалъ срамъ его, но, по недомыслію моему, я полагалъ, что все сіе говорилъ батюшка

о комъ-либо изъ братіи монастырской, и не разъ, безумный, про себя осуждалъ его за это, и только передъ кончиной своей праведной онъ открылъ мнѣ все сіе, что передаю тебѣ. Доброты никакой не имѣю и оттого просилъ и прошу тебя: научи меня добротѣ твоей, ибо отъ доброты ты и за оныхъ гордыхъ и унылыхъ молился. Меня же прости, что ничѣмъ не помогъ тебѣ, и все, что открылъ тебѣ о жалостникѣ великомъ, храни въ себѣ. Теперь паки помолимся, милый, о рабѣ Божиѣмъ, въ Бозѣ почившемъ схіеромонахѣ Сергіи, а онъ за насъ съ тобой, за черненькихъ, бѣленскій помолится“.

И, павъ на колѣни, отецъ Парееній приникъ къ полу лбомъ и долго не поднимался. Я сталъ съ нимъ и чувствую, какъ будто по мнѣ легкота идетъ, и я легкій, какъ ребенокъ, и радуюсь этой легкотѣ и хочу молитву читать, а всѣ слова забылъ: такъ, безъ словъ, молюсь, и мнѣ стыдно, что я всѣ слова растерялъ, но только и стыдъ какой-то особенный, не стыдный. Радуетъ мое сердце.

Всталъ отецъ Парееній, въ аналойчикѣ ящичекъ выдвинулъ и досталъ оттуда мѣдный крестикъ и далъ мнѣ.

— Носи крестикъ, ничего не бойся и батюшку Сергія поминай, бѣленскаго. А теперь къ дядѣ ступай, а черненькихъ хлѣбушкомъ корми, какъ мы съ тобой кормили: ты къ черненькимъ привыкъ. Возьми хлѣбушка.

И подаетъ мнѣ ломоть, и опять кланяется, и весело смотреть на меня. Я у него и благословенія попросить позабылъ, руку поцѣловалъ и къ дядѣ побѣжалъ.

Дядя меня ждетъ. Самоваръ простылъ. Потянуло меня домой, ну, такъ хочется домой, какъ будто двадцать лѣтъ не было.

— Поѣдемъ, дяденька, домой!

Онъ отвѣчаетъ:

— Да къ вечернѣ сходимъ, и домой ѣхать можно. Не озябъ ты?

А я только теперь замѣчаю, что все время безъ полупубка было и дрожу.

— Выпей чайку. Согрѣйся. Обошлось у тебя?—спрашиваетъ

Я и сказать боюсь, и не вѣрю, какая со мной перемѣна, и знаю, что сказать нужно и молчать грѣхъ. Перекрестился я на уголь и сказалъ:

— Все слава Богу, дяденька.

И онъ всталъ, перекрестился и тоже: „Слава Богу“, говоритъ.

Сходили мы къ вечернѣ, панихиду я отслужилъ по отцѣ Сергіи и сейчасъ въ дорогу, въ Красноборскъ.

Отецъ съ матерью только на образъ Божьей Матери перекрестились и шепчутъ оба: „Радуйся, Обрадовавшая!“

И скорбь моя вся прошла окончательно, и сталъ я какъ всѣ люди, и до старости дожилъ. Благодарю Бога.

Такъ вопросъ этотъ, что заинтересовалъ ихъ превосходительство, разрѣшеніе свое получилъ, и многихъ я духовныхъ лицъ хорошей жизни спрашивалъ объ этомъ въ послѣдствіи изъ интереса; иные ничего объ этомъ не знаютъ, а тѣ, кто съ этимъ встрѣчался, всѣ одно рѣшеніе выносили: оно то же самое, что батюшкѣ отцу Сергію было дано. И это понятно-съ,—оно не человѣкомъ было измышлено, а отъ Бога шло.

---

Иванъ Ивановичъ всталъ съ койки и приподнялъ рыжую шторку; солнце уже встало, и плоскіе алые лучи стлались нѣжно и мягко по спокойной, чуть рябившейся водѣ. Иванъ Ивановичъ натянулъ сапоги и, стоя въ дверяхъ, сказалъ:

— Вы меня простите, что долго говорилъ: про себя говорить всегда длинно выходитъ. Про себя мѣры никогда не знаешь.

— Напротивъ, мы вамъ очень благодарны, Иванъ Ивановичъ,—отвѣтилъ генераль.—Мы слышали цѣлую эпопею въ совершенно народномъ духѣ, а это теперь такая рѣдкость.

Инспекторъ присоединился къ похваламъ генерала.

— На солнышко пойду поглядѣть. Оно ужъ высоко теперь,—промолвилъ Иванъ Ивановичъ и вышелъ изъ каюты.

Генераль и инспекторъ выкурили по папироскѣ и, задернувъ занавѣску, окончательно расположились спать. Засыпая, инспекторъ вспомнилъ что-то и засмѣялся.

— Чему вы?—спросилъ генераль.

— Мнѣ пришло въ голову: милѣйшій Иванъ Ивановичъ-то нашъ, вѣдь, это своего рода Оригенъ...

— И при томъ оригинальный Оригенъ,—скаламбурилъ генераль.—На русскій манеръ. Покойной ночи.

Сергій Дурюлинъ.